

МАРСЕЛЬ ЭМЕ



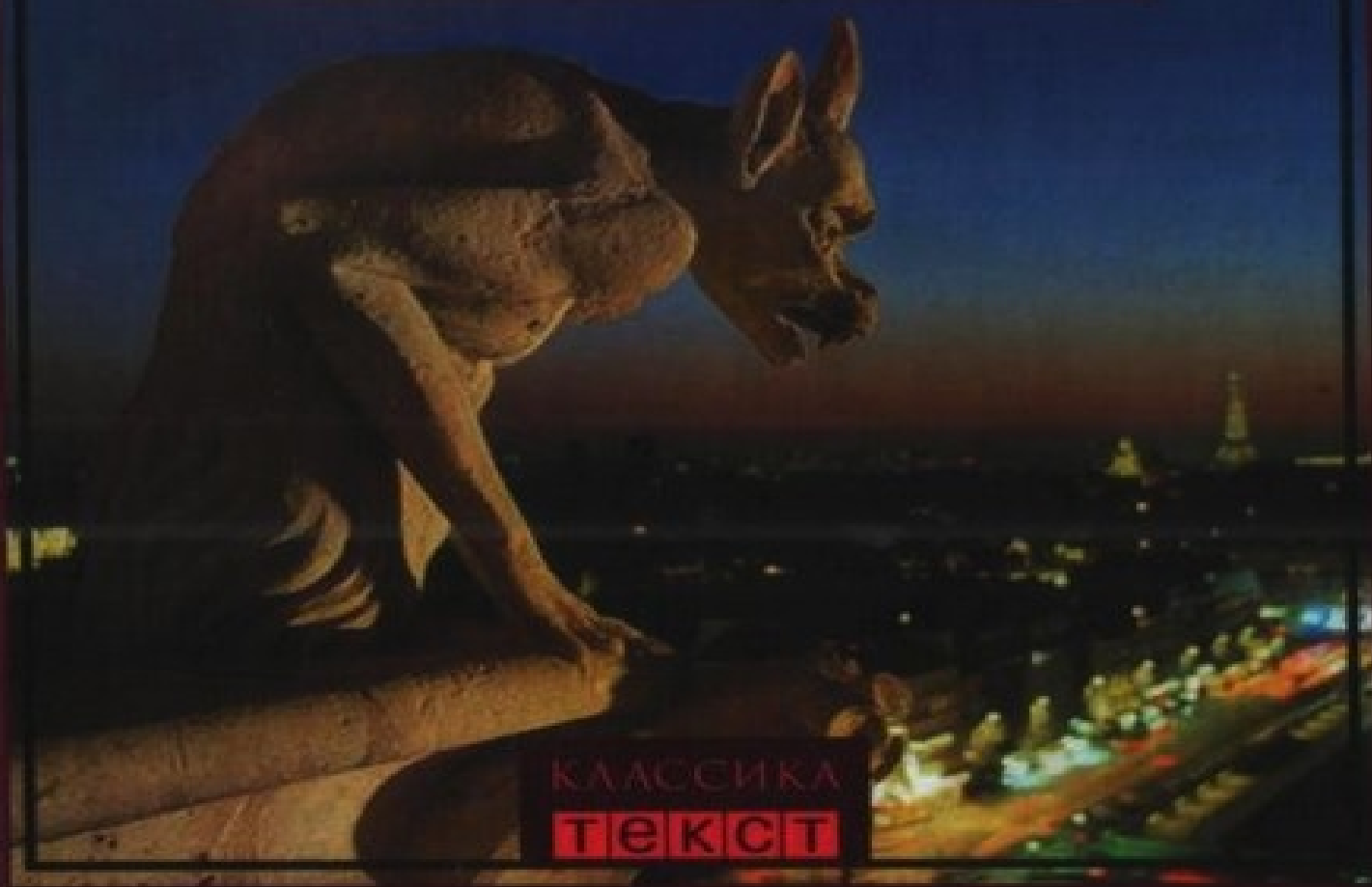
ВИНО ПАРИЖСКОГО РАЗЛИВА

ТЕКСТ

МАРСЕЛЬ  
ЭМЕ



ВИНО  
ПАРИЖСКОГО  
РАЗЛИВА



КЛАССИКА  
ТЕКСТ

Марсель Эме (1902–1967) — всемирно известный писатель, продолжатель лучших традиций французской литературы, в произведениях которого причудливо сочетаются реализм и фантастика, ирония и трагедия. В России М. Эме известен главным образом детскими сказками и романами. Однако, по мнению критиков, лучшую часть его творческого наследия составляют рассказы, в том числе и вошедшие в этот сборник, который «Текст» издает второй раз.

«Марселю Эме удастся невозможное. Каждая его книга может объединить, пусть на час, наших безнадежно разобщенных сограждан, растрогать самых черствых, рассмешить самых угрюмых. У него мудры не только старики, потешны не только шуты, добры не только дурачки» (Антуан Блонден).

---

---

- [Марсель Эме](#)
    - [Сабины](#)
    - [Вино парижского разлива](#)
    - [Обратный виток](#)
    - [Марш-бросок через Париж](#)
    - [Сборщик жен](#)
    - [Благодать](#)
    - [Дермюш](#)
    - [Липовый полицейский](#)
    - [Могилы семи грехов](#)
    - [Злая кокетка и школяр](#)
    - [Оскар и Эрик](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
- 
-

**Марсель Эме**  
**РАССКАЗЫ**

Жила-была на Монмартре, на улице Абревуар, одна молодая женщина по имени Сабина, которая обладала даром вездесущности. То есть могла, когда пожелает, произвольно умножаться и пребывать душой и телом одновременно в разных местах. Поскольку она была замужем, а столь редкостное свойство, вероятно, смутило бы ее супруга, она благоразумно предпочла не посвящать его в эту тайну и пользовалась своим даром только дома, когда оставалась одна. Например, раздваивалась и растраивалась за утренним туалетом, чтобы получше рассмотреть себя со всех сторон. Закончив же осмотр, снова воссоединялась. Иногда в дождь или зимнее ненастье, когда не хотелось никуда выходить, Сабина приумножалась до десятка или двух и вела оживленную беседу, по сути, с самою собой. Ее муж Антуан Лемюрье, замначальника юротдела СБНАО, ничего обо всем этом не подозревал и свято верил, что у него нормальная, единоличная жена, как у всех людей. Правда, однажды, вернувшись домой в неурочное время, он увидел перед собой трех умопомрачительно одинаковых жен, глядящих на него в три пары глаз равной голубизны и ясности, отчего собственные его глаза полезли на лоб, а челюсть слегка отвисла. Сабина тотчас же сложилась, так что супруг счел инцидент следствием внезапного недомогания — мнение, полностью подтвержденное домашним врачом, который нашел у пациента гипофизарную недостаточность и прописал ему несколько дорогостоящих лекарств.

Однажды апрельским вечером Антуан Лемюрье просматривал за обеденным столом отчетные документы, а Сабина в кресле читала журнал про жизнь кинозвезд. Как вдруг, взглянув невзначай на жену, Лемюрье застыл, пораженный ее позой и выражением лица. Она сидела, склонив голову к плечу и выронив из рук журнал. Расширенные глаза блестели влажным блеском, на губах блуждала улыбка, — словом, вся она светилась какой-то несказанной радостью. Восхищенный и взволнованный муж подошел к Сабине на цыпочках, благоговейно потянулся к ней, но она, непонятно почему, досадливо отстранила его рукой. Все это имело свое объяснение.

Неделей раньше Сабине повстречался на углу улицы Жюно некий молодой человек двадцати пяти лет с жгуче-черными глазами. Он дерзко преградил ей дорогу и сказал: «Мадам!» — на что Сабина, вздернув голову и обдав его ледяным взором, ответила: «Позвольте, месье!» В результате чего в упомянутый апрельский вечер она одновременно находилась у себя дома и у черноокого молодого человека, который звался Теоремом и представлялся художником. В тот самый миг, когда Сабина осадила супруга и отослала его к папкам и ведомостям, Теорем в своей мастерской на улице Шевалье-де-ла-Бар, держа ее за руки, говорил: «О любовь моя, радость моего сердца, крылья моей души!» — и прочие красивые слова, которые так легко слетают с уст влюбленного в пору первых восторгов. Сабина решила вернуться в себя не позднее десяти часов вечера, не сделав никаких серьезных уступок, однако пробило двенадцать, а она еще не покинула Теорема, и все ее благие намерения пошли прахом. На другую ночь она сложилась лишь в два часа, а в последующие — еще того позже.

Теперь каждый вечер Антуан Лемюрье мог любоваться лицом жены, на котором отражалось поистине неземное блаженство. Разговорившись как-то с сослуживцем, он в приливе откровенности выпалил: «Видели бы вы ее, когда мы засидимся за полночь в столовой: она словно беседует с ангелами!»

Сабина беседовала с ангелами четыре месяца. То было прекраснейшее лето в ее жизни. Она провела его на овернском озере с Лемюрье и в тихом местечке на берегу моря в Бретани с Теоремом. «Никогда еще ты не была так хороша! — восхищался муж. — Твои глаза прекрасны,

как озерная гладь в восьмом часу утра». На что Сабина отвечала пленительной улыбкой, обращенной к невидимому горнему духу. В то же самое время они с Теоремом чуть не нагишом загорали на бретонском пляже. Черноглазый любовник хранил молчание, будто его обуревали сильнейшие чувства, которые невозможно передать словами, на самом же деле он просто устал повторять одно и то же. Пока Сабина упивалась этим безмолвием, исполненным мнимой, а потому невыразимой страстью, Теорем млея от животного наслаждения и поджидал часа очередной трапезы, радуясь, что отдых не стоил ему ни гроша. Дело в том, что Сабина продала несколько украшений из своего приданого (принадлежавших ей еще в девичестве) и умолила его позволить ей оплатить всю поездку. Теорем слегка удивился тому, как робко она просила его о том, что, на его взгляд, само собой разумелось, и милостиво принял ее предложение. Он полагал, что художнику вообще, а ему и подавно не пристало считаться с какими-то нелепыми предрассудками. «Я не считаю себя вправе давать волю щепетильности, — говаривал он, — если она препятствует появлению на свет шедевров, достойных Веласкеса или Эль Греко». Живя на скудный пансион, который выплачивал ему лиможский дядюшка, он и не пытался сделать живопись источником существования и неукоснительно придерживался самых возвышенных понятий об искусстве, в соответствии с которыми запрещал себе брать в руки кисть, не ощущая вдохновения: «Я буду ждать его столько, сколько потребуется, хоть десять лет!» Примерно так он и поступал. А на досуге прилежно развивал остроту чувственного восприятия в монмартрских кафе или оттачивал критическое мышление, наблюдая, как пишут другие художники, когда же те спрашивали, где его собственные полотна, с внушительной серьезностью отвечал: «Я ищу себя». Грубых башмаков и широких бархатных брюк, составлявших его зимний наряд, было довольно, чтобы во всем квартале, от улицы Коленкура до площади дю Тертр и улицы Аббатис, за ним утвердилась слава отменного художника. А уж то, что у него блестящие задатки, не смели отрицать даже злейшие недоброжелатели.

Как-то утром, когда каникулы подходили к концу, любовники одевались в номере выдержанной в местном колорите бретонской гостиницы. А в пяти или шестистах километрах оттуда, в Оверни, супруги Лемюрье, вставшие в три часа утра, катались в лодке по озеру. Лемюрье греб и громко восторгался пейзажем, Сабина отвечала односложно и редко. Зато в гостинице она распевала, глядя на море: «Белы, тонки, волнуют кровь персты, при них душа небесной красоты». Между тем Теорем взял с каминной полки бумажник и, прежде чем засунуть в карман шорт, достал из него фотографию:

— Смотри-ка, что я нашел. Это я прошлой зимой у Мулен-де-ла-Галет.

— О любимый! — пролепетала Сабина, и на глаза ее навернулись слезы гордости и умиления.

Теорем был запечатлен в зимнем наряде. Грубые башмаки и просторные, изящно зауженные на щиколотках бархатные штаны неоспоримо обличали великий талант. Сабина ощутила угрызения совести из-за того, что, умолчав о своей тайне, оскорбила недоверием своего избранника, недооценила его возвышенную натуру.

— Ты такой красивый, — сказала она. — Такой одаренный. Чего стоят одни башмаки! А бархатные брюки! А кроличья каскетка! О дорогой мой, у тебя тонкая, чистая душа художника, мне так повезло, что я тебя встретила, сокровище мое, радость моя, а ведь я не открыла тебе свой секрет.

— О чем ты?

— Милый, я скажу тебе одну вещь, которую поклялась никому не говорить: я обладаю даром вездесущности.

Теорем расхохотался, но Сабина сказала:

— Смотри!

И в тот же миг умножилась, а Теорем, обнаружив себя в окружении девяти совершенно одинаковых Сабин, почувствовал, что вот-вот лишится рассудка.

— Ты не сердисься? — застенчиво спросила одна из них.

— Да нет, — ответил Теорем. — Совсем наоборот.

Он через силу улыбнулся, показывая, что благодарен и счастлив, и успокоенная Сабина горячо поцеловала его девятью устами.

В начале октября, примерно через месяц после возвращения в Париж, Лемюрье заметил, что беседы с ангелами прекратились. Жена выглядела озабоченной и печальной.

— Ты что-то загрустила, — сказал он. — Может, оттого, что мало выходишь из дому? Хочешь, пойдем завтра в кино?

В это же самое время Теорем расхаживал по мастерской и кричал:

— Откуда я знаю, где еще ты сейчас изволишь находиться! Может, ты уже в Жавеле, а может, сидишь в кафе на Монпарнасе, в обнимку с каким-нибудь мазуриком? Или в Лионе целуешься с каким-нибудь фабрикантом? Или в Нарбонне лежишь в постели какого-нибудь винодела? Или тебя ласкает в гареме персидский шах?

— Клянусь тебе, любимый...

— Она клянется! Что тебе помешает клясться и при этом спать с двумя десятками любовников? Нет, я сойду с ума! Во мне все кипит! Я за себя не отвечаю — я готов на все!

Дойдя до этой угрозы, он стал искать глазами ятаган, который год назад купил по случаю на барахолке. Сабина, дабы удержать его от смертоубийства, раскинулась на двенадцать персон, которые встали стеной, преградив ему путь к оружию. Теорем утих. Сабина сложилась.

— О, как мне тяжело! — стонал художник. — Еще и эта мука вдобавок ко всем моим терзаниям!

То был намек на некоторые затруднения как материального, так и морального порядка. Ибо, по словам Теорема, он находился в тяжелейшем положении. Домовладелец, которому он задолжал за три квартала, грозился описать его имущество. Лиможский дядюшка внезапно прекратил выплачивать пособие. А тут еще творческий кризис, очень болезненный, хотя сулящий нечто грандиозное. Теорем чувствовал, как бурлят и ищут выхода могучие силы его дарования, но их сковывает безденежье. Попробуй-ка создай шедевр, когда в дверь стучатся голод и судебный исполнитель. Сабина слушала его с волнением, сердце ее разрывалось. За неделю до того она продала последние драгоценности, чтобы Теорем заплатил долг чести угольщику с улицы Норвен, и сокрушалась, что ей нечего больше принести в жертву гению. В действительности положение Теорема было не хуже и не лучше, чем обычно. Лиможский дядюшка по-прежнему выбивался из сил во имя будущей славы любимого племянника, а домовладелец, наивно рассчитывая воспользоваться бедностью молодого художника, который должен стать великим, с такой же охотой принимал скороспелую мазню квартиранта, с какой тот ею расплачивался. Но Теорему не только доставляло удовольствие поиграть в проклятого поэта и божественную личность, он еще смутно надеялся, что мрачная картина его невзгод толкнет молодую женщину на самые отчаянные шаги.

В ту ночь, боясь оставить его одного в беде, Сабина осталась раздвоенной и провела ночь у любовника. На другое утро она проснулась с нежной, счастливой улыбкой на устах.

— Мне приснился сон, — сказала она, — как будто мы держим маленькую, метра два по фасаду, бакалейную лавочку на улице Сен-Рюстик. И у нас всего один клиент — школьник, который заходит купить леденцов и ячменного сахара. На мне был синий фартук с большими карманами. На тебе рабочий халат. По вечерам в задней комнатке ты записывал в толстой книге: «Дневная выручка — шесть су за леденцы». И вот ты говоришь: «Чтобы наши дела пошли в гору, надо бы найти еще одного клиента. Какого-нибудь старичка с седой бородкой...» Я

хотела ответить, что с двумя клиентами мы с ног собьемся, но не успела и проснулась.

— Ну-ну! — сказал Теорем (с горькой улыбкой и таким же горьким смешком). — Ну-ну! — сказал художник, уязвленный до глубины души (кровь уже шумела у него в ушах, а черные глаза метали молнии). — Ну-ну, — сказал он, — значит, тебе хотелось бы сделать из меня лавочника?

— Да нет же. Это просто сон.

— Вот именно. Ты спишь и видишь, чтоб я стал лавочником и нацепил халат.

— Что ты, милый, — проворковала Сабина. — Если б ты сам видел, как он тебе идет!

Теорем вскочил с постели и захлебнулся от возмущения: все, все его травят! Мало того что хозяин выгоняет на улицу, а лиможский дядюшка решил уморить голодом, и это как раз тогда, когда в нем вызревает нечто. Когда он вынашивает в себе шедевр, грандиозный, но хрупкий. Так еще и любимая женщина смеется над его великими замыслами и мечтает, чтобы они сорвались. А его самого хочет запихнуть в бакалейную лавку! Почему уж тогда не в Академию?! Он кричал истошно, с мукой в голосе, мечась по мастерской в пижаме и раздирая грудь, точно отдавал свое сердце на растерзание хозяину, лиможскому дядюшке и любовнице. Сабина ужасалась неистовым страданиям художника и стыдилась своего ничтожества.

В полдень Лемюрье пришел домой обедать и застал жену в расстроенных чувствах. Она даже забыла собраться, так что на кухне глазам его предстали четыре женщины, занятые разными делами, но с одинаково заплаканными глазами. Лемюрье был неприятно поражен:

— Ну вот! Опять гипофизарная недостаточность разыгралась! Придется повторить лечение.

Когда же приступ миновал, он обеспокоился черной тоской, которая, что ни день, все явственнее снедала Сабину.

— Бинетта, — сказал он (этим ласковым именем добрый человек называл обожаемую молодую жену), — Бинетта, я не могу больше видеть тебя такой подавленной. В конце концов я сам заболел. И так уже то на улице, то в конторе вдруг привидятся твои грустные глаза — и сердце кровью обольется. Бывает, расплачусь прямо над бюваром. Приходится снимать очки и протирать стекла, а это весьма значительная потеря времени, не говоря о том, что слезливость производит дурное впечатление как на подчиненных, так и на начальство. И наконец, я даже сказал бы, и главное, — я опасаюсь губительного влияния на твое здоровье этой тоски, хоть она и придает твоим ясным глазам особый шарм, и настоятельно просил бы тебя принять безотлагательные и энергичные меры против этого опасного состояния. Нынче утром Портер, наш замдиректора, милейший, прекрасно образованный и в высшей степени компетентный человек, любезно преподнес мне клубную карточку лоншанского ипподрома — он получил ее от зятя, крупной столичной шишки и одного из организаторов скачек. Атак как тебе необходимо развеяться...

В тот вечер Сабина первый раз в жизни была на скачках в Лоншане. По дороге она купила программку и выбрала лошадь по кличке Теократ Шестой — созвучие с драгоценным Теоремом показалось ей счастливым знаком. В манто из голубого финтифлюша с пескоструйной оторочкой и в тонкинской шляпке с абажурной вуалеткой, она привлекала взгляды мужчин. Первые забеги оставили ее вполне равнодушной. Она была поглощена мыслями о своем дорогом возлюбленном, страдающем оттого, что жизнь ставит препоны его вдохновению, и мысленно видела, как сверкают его черные очи, когда он творит у себя в мастерской, напрягая все силы в борьбе с пошлой действительностью. Ей захотелось немедленно раздвоиться, перенестись на улицу Шевалье-де-ла-Бар и нежным прикосновением освежить пылающий лоб Теорема, как водится у любовников в тяжелые минуты. Однако она не поддавалась искушению, боясь потревожить увлеченного работой художника. Оно и к лучшему, так как Теорем в это время находился отнюдь не в мастерской, а за стойкой бара на улице Коленкур, потягивал винцо и

подумывал, не поздно ли еще закатиться в кино.

Но вот лошади выстроились для забега на гран-при министра регистрационных дел. Сабина заворуженно смотрела на Теократа Шестого. Она поставила на него почти сто пятьдесят франков — всю сумму, какой располагала, и надеялась выиграть столько, чтобы хватило заплатить за квартиру Теорема и унять домовладельца. Сидевший на Теократе Шестом жокей был одет в восхитительную куртку, наполовину белую, наполовину зеленую — легкого, воздушного и свежего цвета салата с райских грядок. Сама лошадь была черной как смоль. Она с первых секунд вырвалась вперед и оторвалась от соперников на три корпуса. Опытные игроки знали, что такое начало еще не позволяет судить о результате, однако Сабина, заранее уверенная в победе и горя азартом, вскочила на ноги и закричала: «Теократ! Теократ!», вызывая смехи и улыбки окружающих. Только сидевший справа элегантный старейший господин в перчатках и с моноклем посматривал на нее с сочувствием, растроганный такой непосредственностью. Увлечшись, Сабина кричала уже: «Теорем! Теорем!» Соседи громко потешались над ней, так что почти забыли про скачки. Впрочем, вскоре она спохватилась, увидела себя со стороны и густо покраснела от смущения. Тогда элегантный пожилой господин в перчатках и с моноклем встал и закричал во всю силу: «Теократ! Теократ!» Насмешники тут же осеклись, а из перешептывания соседей Сабина узнала, что пожилой господин был самым лордом Барбери.

Между тем Теократ Шестой потерял преимущество и пришел одним из последних. У Сабины вырвался судорожный всхлип: надежды рухнули, Теорем обречен на нищету и творческое бессилие. Ноздри Сабины задрожали, глаза увлажнились. Лорду Барбери стало искренне жаль ее. Он заговорил с нею и после обмена любезностями спросил, не хочет ли она стать его женой, присовокупив, что его годовой доход равен двумстам тысячам фунтов стерлингов. В эту минуту Сабине ясно представилось, как молодой художник умирает на жесткой больничной койке, проклиная Бога и домовладельца. Из любви к Теорему и отчасти к искусству Сабина ответила согласием, но честно предупредила лорда, что у нее ничего нет, нет даже фамилии — одно имя, и то самое банальное — Мари. Лорду Барбери эта особенность показалась весьма пикантной, он уже предвкушал, какой эффект произведет она на его сестру Эмилию, старую деву, посвятившую всю жизнь сохранению традиций британских аристократических родов. Не дожидаясь конца скачек, он посадил невесту в автомобиль и увез на аэродром Бурже. В шесть часов они высадились в Лондоне, а в семь обвенчались.

В то время как в Лондоне Сабина выходила замуж, на улице Абревуар она сидела за ужином со своим супругом Антуаном Лемюрье. Он заметил, что жена выглядит лучше, был с нею трогательно заботлив и мил. Сабина с тяжелым сердцем думала, не нарушила ли она божеские и людские законы, вступив в брак с лордом Барбери. Вопрос довольно каверзный и тесно связанный с другим: насколько тождественны супруга Антуана и супруга лорда. Пусть физически каждая из них была вполне самостоятельным лицом, но брак, хоть и осуществляется во плоти, есть в первую очередь единство душ. Впрочем, Сабина корила себя напрасно. Поскольку законодательство не предусматривало феномена вездесущности, она была вольна поступать, как ей заблагорассудится. И даже имела право считать себя в ладу с небом, ибо ни одна булла, ни один рескрипт, ни одна декреталия никак не касались ее случая. Но щепетильность не позволяла ей прибегать к казуистике. Совесть и долг говорили, что брак с лордом Барбери — всего лишь продолжение и следствие супружеской измены, непростительной и безусловно греховной. Во искупление этого греха перед Богом, обществом и мужем она дала себе зарок никогда больше не видеться с Теоремом. Да и стыдно было бы показаться ему на глаза, после того как она откровенно вышла замуж по расчету. Разумеется, она сделала это ради его же покоя и славы, но, в чистоте своей, расценивала свой поступок как оскорбление любви. И



все же обстоятельства жизни Сабины в Англии складывались таким образом, что несколько смягчили и муки совести, и даже боль разлуки. Лорд Барбери был человеком выдающимся. Он не только был богат, но и происходил по прямой линии от Иоанна Безземельного, который — факт, мало известный историкам, — состоял в морганатическом браке с Эрмесиндой Тренкавельской и имел от нее семнадцать детей; все они скончались в младенчестве, за исключением одного, четырнадцатого по счету, по имени Ричард-Хьюг. Он-то и стал основателем дома Барбери. Помимо прочих привилегий, составлявших предмет зависти всей английской знати, лорд Барбери пользовался исключительным правом раскрывать зонтик в покоях короля, эта привилегия распространялась также на летний зонтик его супруги. Понятно, что его женитьба на Сабине стала заметным событием. Новая леди Барбери попала в центр всеобщего внимания, в основном благожелательного, несмотря на то что сестра лорда распустила слухи, будто она прежде была танцовщицей из Табарена. Сабину, в Англии именовавшуюся Мари, поглотили обязанности великосветской дамы. Приемы, чаепития, благотворительное рукоделие, партии в гольф, примерки не давали ей и минутной передышки. Но за всеми этими разнообразными занятиями она не забывала о Теореме.

Художник не догадывался, кто регулярно присылал ему чеки из Англии, и ничуть не тужил о том, что Сабина больше не бывает у него в мастерской. Ежемесячный доход Теорема возрос теперь до двадцати тысяч, так что материальные заботы больше не тяготили его, однако он заметил, что вступил в неблагоприятный для творчества период гиперчувствительности, который необходимо переждать. В связи с чем он решил годик отдохнуть, а если этого срока окажется мало, то и продлить его. На Монмартре его теперь видели нечасто, черную полосу он переживал в барах на Монпарнасе или ночных клубах на Елисейских Полях, где пользовал себя икрой и шампанским в компании шикарных шлюх. Когда Сабине стало известно о его разгульной жизни, она ничуть не усомнилась в нем, а подумала, что он идет по стопам Гойи и исследует игру света и мрака в недрах женской натуры.

Однажды вечером леди Барбери, проведя три недели в родовом замке, вернулась в роскошный особняк на Мэдисон-сквер и нашла у себя в спальне четыре картонки с обновками: бриллиантовым вечерним платьем, креп-вазелиновым домашним, трикотажным спортивным и строгим классическим костюмом из лейкопластыря. Она отпустила горничную и упятерилась, чтобы разом примерить все наряды. И надо же было в эту минуту войти лорду Барбери.

— Дорогая! — вскричал он. — Да у вас четыре обворожительные сестры! И вы никогда мне не говорили!

Застигнутая врасплох, леди Барбери не смогла быстренько сложиться и вместо этого пробормотала:

— Они только что приехали. Альфонсина старше меня на год, с Брижит мы близнецы, а Барб и Розали, тоже близнецы, на год младше. Все говорят, что мы очень похожи.

Четыре сестры были радушно приняты в лучших, домах. Вскоре все четверо вышли замуж. Альфонсина — за американского миллиардера, кожгалантерейного короля, с которым уплыла через Атлантику; Брижит — за мадагаскарского магараджу, который увез ее в свой дворец; Барб — за знаменитого неаполитанского тенора, с которым отправилась в турне по миру, а Розали — за испанского этнографа, забравшего супругу на Новую Гвинею изучать нравы и обычаи папуасов.

Четыре свадьбы были сыграны почти одновременно и наделали много шума в Англии и на континенте. Парижские газеты тоже писали о них и помещали снимки. Как-то вечером в квартире на улице Абревуар Антуан Лемюрье сказал жене за ужином:

— Ты видела фотографии леди Барбери и ее четырех сестер? Невероятно, до чего они похожи на тебя, хотя глаза у тебя, конечно, посветлее, лицо подлиннее, рот поменьше, нос

покороче и подбородок покруглее. Завтра же покажу газету и твою фотографию Портеру. То-то он разинет рот. — Антуан весело засмеялся, предвкушая, как удивится месье Портер, замдиректора СБНАО. Так он и объяснил жене: — Я смеюсь, потому что представляю себе, какой у него будет вид. Бедный Портер! Кстати, он снова дал мне клубную карточку на среду. Чем, по-твоему, мне его отблагодарить?

— Не знаю, — ответила Сабина. — Это дело тонкое.

И она с озабоченным видом принялась размышлять, прилично ли будет Лемюрье послать корзину цветов жене своего начальника. Вместе с нею над проблемой преподнесения цветов мадам Портер ломали голову леди Барбери, играя в бридж с графом Лейчестерским; мадагапурская бегума, восседая в паланкине на слоне; миссис Смитсон, развлекая гостей в новехоньком синтетическом замке а-ля Ренессанс в штате Пенсильвания; Барб Каццарини, слушая непревзойденного тенора в ложе Венской оперы, и Розали Вальдес-и-Саманьего, отдыхая под москитной сеткой в папуасской деревне.

Теорем тоже прочитал в газетах о лондонских свадьбах. Разглядывая снимки, он ни на секунду не усомнился в том, что все новобрачные были производными Сабины. И одобрил ее выбор во всех случаях, кроме не сулившего большой выгоды союза с путешественником. Как раз к этому времени он ощутил потребность вернуться на Монмартр, пресытившись бурлением Монпарнаса и шумным зноем Елисейских Полей. Кроме того, пособие леди Барбери придавало ему куда больше шика в кафе на родном холме художников, чем в чужеземных кварталах. Но образ жизни его ничуть не изменился, и очень скоро он прослыл на Монмартре ночным дебоширом, пьяницей и распутником. Приятели живо расписывали кутежи Теорема, завидовали, когда он швырялся деньгами, хотя им тоже кое-что перепало, и злорадно твердили, что для искусства он потерян навсегда. Добавляя с притворным сожалением, что это ах как досадно, поскольку темперамент у него самый артистический. Слухи о его бесчинствах донеслись до Сабины, и она поняла, что он вступил на гибельный путь. Ее вера в Теорема и его дарование несколько пошатнулась, но нежные чувства не пострадали: напротив, она любила его еще сильнее и винила себя в его падении. Целую неделю она изнемогала от горя в разных концах света. А как-то раз поздно вечером, возвращаясь с мужем из кино, увидела на перекрестке улиц Жюно и Жирардон Теорема, которого волокли две растрепанные гогочущие девицы. Он был мертвецки пьян, извергал изо рта винные струи и изрыгал грязные ругательства в адрес двух красоток, одна из которых поддерживала его голову и нежно называла свинтусом, а другая в казарменном стиле расхваливала его любовный арсенал. Он узнал Сабину, повернул к ней грязную физиономию, выплюнул ей в лицо имя Барбери, присовокупив короткий, но выразительный эпитет, и рухнул к подножию уличного фонаря. После этой встречи сама мысль о художнике стала для Сабины ненавистна, и она поклялась себе забыть о нем на веки вечные.

Прошло две недели, и леди Барбери, пребывавшая с супругом в родовом имении, влюбилась в молодого местного пастора, приглашенного в замок на обед. Глаза у него были не черные, а бледно-голубые, губы не чувственные, а тонкие, с опущенными углами, чистый, опрятный вид и холодный, отполированный ум человека, заведомо презирающего все, чего не знает. Он покорила леди Барбери с первого взгляда. Вечером она сказала мужу:

— Я не говорила вам, но у меня есть еще одна сестра. Ее зовут Жюдит.

На следующей неделе прибывшая в замок Жюдит сидела за обеденным столом рядом с пастором. Тот был учтив, но сдержан, как и подобало вести себя с католичкой, сосудом и рассадником заблуждений. После обеда они пошли прогуляться по парку, и Жюдит очень удачно и как бы невзначай ввернула несколько цитат из Книги Иова, Чисел и Второзакония. Преподобный отец почуял благодатную почву. Еще через неделю он обратил Жюдит в свою веру, а через две — женился на ней. Но счастье их было недолговечным. Пастор только и делал,

что произносил нравоучительные речи, и, даже положив голову на подушку, выказывал высокие помыслы. Жюдит изнемогала от скуки. Кончилось тем, что как-то раз, когда они катались на лодке по шотландскому озеру, она воспользовалась случаем и сделала вид, что утонула. На самом же деле нырнула, отплыла, задержав дыхание, подальше, а когда скрылась из глаз мужа, снова слилась с леди Барбери. Преподобный отец был в страшном горе, но не преминул возблагодарить Всевышнего за ниспосланное испытание и установил у себя в саду небольшую мемориальную стелу.

Между тем Теорем, не получив очередного пособия, забеспокоился. Сначала он подумал, что это просто задержка и надо набраться терпения, но, прожив в кредит больше месяца, решил обратиться к Сабине за помощью. Три дня подряд он безуспешно подстерегал ее у дома на улице Абревуар, пока наконец не поймал на улице.

— Сабина! — сказал он. — Я искал тебя три дня.

— Но, месье, я вас не знаю, — отвечала Сабина.

Она хотела пройти мимо, но Теорем положил руку ей на плечо:

— Послушай, Сабина, за что ты на меня сердишься? Я все делал, как ты хотела, а ты меня бросила. Я молча страдал и даже не спрашивал почему.

— Не понимаю, о чем вы говорите, но ваше фамильярное обращение и дерзкие намеки меня оскорбляют. Пропустите меня!

— Сабина, ты не могла все забыть. Вспомни!

Не смея сразу завести речь о деньгах, Теорем старался оживить былой сердечный тон. Со слезой в голосе он взывал к сладостным воспоминаниям и воскрешал картины их любви. Но Сабина смотрела на него с опасливым изумлением и не столько возмущенно, сколько ошарашенно все отрицала. Теорем не сдавался:

— Ну помнишь, прошлым летом мы ездили в Бретань, помнишь нашу комнатку на морском берегу?

— Прoshлым летом? Но я ездила с мужем в Овернь!

— Да, конечно! Если ты будешь цепляться за факты!

— Что значит цепляться за факты?! Вы издеваетесь или сошли с ума. Оставьте меня в покое, не то я закричу!

Теорем, взбешенный такой явной ложью, схватил ее за руки и принялся трясти и заклинять. Но Сабина увидела на другой стороне улицы мужа и громко окликнула его по имени. Лемюрье подошел и поздоровался с Теоремом, еще не понимая, в чем дело.

— Этот господин, которого я вижу впервые в жизни, — начала объяснять Сабина, — остановил меня на улице. Он обращается ко мне на «ты», мало того, разговаривает со мной как со своей любовницей, называет «милой» и рассказывает какие-то басни якобы из нашего прошлого.

— Что это значит, месье? — надменно осведомился Антуан Лемюрье. — Вам угодно шутить столь странным и возмутительным образом? Да будет вам известно, что такое поведение не к лицу воспитанному человеку.

— Ладно! — махнул рукой Теорем. — Сказал бы я вам, да не стану.

— Отчего же, месье, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь, — засмеялась Сабина и, повернувшись к мужу, продолжила: — Он тут такого мне нагородил про нашу, видите ли, любовь и еще уверял, что летом мы с ним провели три недели на море в Бретани. Как тебе это нравится?

— Будем считать, что я ничего не говорил, — огрызнулся Теорем.

— Это было бы лучше всего, — согласился законный супруг. — Знайте, месье, что летом мы с женой не расставались ни на день и вместе отдыхали...

— В Оверни, на озере, — оборвал его Теорем. — Разумеется.

— Откуда вы знаете? — невинно спросила Сабина.

— Мне сказал мой мизинчик, когда загорал на пляже в Бретани.

Этот ответ, казалось, озадачил Сабину. Художник не сводил с нее угольно-черных глаз.

— Если я правильно поняла вас, — сказала она, — вы утверждаете, что я одновременно была на озере в Оверни с мужем и на море в Бретани с вами?

Теорем хитро подмигнул и кивнул головой. Тут Антуану Лемюрье все стало ясно, и, хотя он испытывал сильное желание дать незнакомцу хорошего пинка, природная доброта взяла верх.

— Я полагаю, вы живете не один, — примирительно сказал он. — Есть же кто-нибудь, кто за вами присматривает: друг, жена, родные? Я мог бы проводить вас до дому, если это не очень далеко.

— Как, вы не знаете, кто я такой?! — вскричал художник.

— Не имею чести.

— Я Верцингеториг! А доберусь я сам, можете не беспокоиться. Спущусь в метро, доеду от «Ламарка» до «Алезии» и как раз поспею к ужину. Спокойной ночи и приятного сна в объятиях добропорядочной супруги!

С этими словами Теорем окинул Сабину откровенно нервным взглядом и пошел прочь, нервно похохатывая. Несчастный художник вдруг понял, что сошел с ума, и давался диву, как не догадывался об этом раньше. Доказательства были налицо. Если на самом деле не было ни бретонских каникул, ни множества Сабин, значит, это бред сумасшедшего. Если же все правда, то выходит, что Теорем готов засвидетельствовать абсурдные вещи, а это ли не верный признак умопомешательства! Мысль о потере рассудка подействовала на Теорема угнетающе. Он стал замкнутым, мрачным, подозрительным, избегал приятелей. От женщин отвернулся тоже, не показываясь в кафе и безвылазно сидел в мастерской, размышляя о своем недуге. Никакой надежды на выздоровление не было, если только он не потеряет память. Благим следствием затворничества явилось то, что он снова взялся за кисть и принялся писать с исступлением, с поистине безумной страстью. Его действительно немалое дарование, которое он губил, шляясь по кабакам и борделям, проснулось, заблестало и разгорелось ярким пламенем. Посвятив полгода напряженному труду и исканиям, он стал мастером. Шедевр за шедевром, один бессмертнее другого, выходили из-под его руки. Взять хотя бы знаменитую «Девятиглавую женщину», наделавшую столько шума, или необычайно лаконичное и столь же эмоциональное «Вольтеровское кресло». Лиможский дядюшка был в восторге.

Ну а леди Барбери трудами пастора оказалась в интересном положении. Оговоримся сразу, что ни он, ни она не совершили ничего предосудительного, это Жюдит, сливаясь с сестрой, привнесла в нее только-только завязавшийся в ее лоне плод союза с преподобным отцом. Когда пришел срок, леди, втайне смущенная невольным обманом, разрешилась от бремени крепким мальчонкой, которого пастор, не моргнув глазом, окрестил, как любого другого младенца. Ребенка назвали Энтони, и больше о нем, пожалуй, прибавить нечего. Вскоре мадагапурская бегума произвела на свет двойняшек, к появлению которых не был причастен никто, кроме самого магараджи. Это вызвало всенародное ликование, подданные, по обычаю тех мест, преподнесли в дар новорожденным столько чистого золота, сколько они весили. В свою очередь, Барб Каццарини и Розали Вальдес-и-Саманьего стали матерями соответственно мальчика и девочки. Тут тоже не обошлось без ликования.

Что же до миллиардерши миссис Смитсон, то она не последовала примеру сестер, а вместо этого серьезно заболела. Поправлять здоровье она поехала в Калифорнию и там пристрастилась к чтению вредных романов, где самые постыдные, греховные связи предстают в чрезвычайно

привлекательном виде, — романов, авторы которых с неуместным сочувствием — да еще, увы, в каких цветистых выражениях, как искусно приукрашивая скверну, показывая в розовом свете самые вопиющие истории, превознося до небес развратников, — словом, пуская в ход весь арсенал дьявольских уловок, чтобы заставить нас если не одобрительно относиться к блюду (а бывает и такое!), то, по меньшей мере, забыть о его изначальной порочности, — бесстыдно расписывают прелести беззаконной любви и соблазны сладострастия. Нет ничего хуже таких книг. Ими-то и увлеклась миссис Смитсон. Сначала она лишь вздыхала, а потом стала задумываться. «У меня пять мужей, — рассуждала она, — а одно время было сразу шесть. Любовник же всего один, и за полгода он доставил мне больше радости, чем все мужья, вместе взятые, за целый год. И это при том, что он оказался недостойным моей любви. Я рассталась с ним, потому что меня мучила совесть. (Тут миссис Смитсон вздыхала и быстро пролистывала насквозь весь роман.) Вон любовники из „Негасимой страсти“ знать не знают ни о каких муках совести и счастливы, как доги (она хотела сказать — как боги). Если разобраться, то и мне не из-за чего мучиться: ведь в чем заключается грех прелюбодеяния? В том, что позволяешь кому-то пользоваться правом, которое безраздельно принадлежит другому человеку. Но мне-то ничто не мешает иметь любовника без всякого ущерба для Смитсона».

Такие мысли не замедлили принести плоды. Но хуже всего было то, что подобным образом думала не одна миссис Смитсон: природа вездесущности такова, что яд мгновенно проник в умы всех ее сестер. Однажды вечером, незадолго до окончания лечебного курса в калифорнийском эльдорадо, миссис Смитсон отправилась на концерт. Исполняли «Лунную сонату» в хот-джазовой интерпретации. Волшебная музыка Бетховена с ее зажигательными ритмами так подействовала на миссис Смитсон, что она влюбилась в ударника, который через два дня отплыл на Филиппины. Две недели спустя она скопировалась в Маниле, перехватила музыканта сразу по приезде и пленила его. В это самое время леди Барбери воспылала любовью к охотнику на пантер, чей портрет увидела в журнале, и забросила свою репродукцию к нему на Яву. Супруга тенора, покидая Стокгольм, тоже оставила там копию, чтобы та познакомилась с приглянувшимся ей в Опере молодым хористом. А Розали Вальдес-и-Саманьего, недавно потерявшая мужа — его съели папуасы во время религиозной церемонии, — облюбовала четверых красавчиков в четырех портовых городах Океании и произвела для них столько же копий.

Вскоре несчастная многочисленность разохотилась настолько, что завела любовников во всех концах света. Число их возрастало в геометрической прогрессии со знаменателем 2,7. Каких только рекрутов не было в этом рассеянном по миру легионе: моряки, плантаторы, китайские пираты, офицеры, ковбои, чемпион мира по шахматам и скандинавские атлеты, ловцы жемчуга и народный комиссар, школьники, погонщики волов, матадор и подручный мясника, четырнадцать кинематографистов, клейщик фарфора, шестьдесят семь врачей, группа маркизов, четверо русских князей, двое железнодорожных служащих, учитель геометрии, шорник — всех не перечесать. Особо отметим одного действительного члена Французской академии, разъезжавшего по Балканам с лекциями и длинной бородой. А мужское население одного из Маркизских островов так приглянулось ненасытной, что она поселила там тридцать девять производных. За три месяца Сабина так распустилась, что по всему земному шару насчитывалось девятьсот пятьдесят ее побегов. Еще через полгода это число возросло почти до восемнадцати тысяч. Явление приобрело крупные масштабы и едва ли не преобразило облик планеты. Восемнадцать тысяч мужчин находились под влиянием одной женщины, между ними, хоть они о том не подозревали, установилось своеобразное родство чувств, вкусов и взглядов. Более того, прислушиваясь к одним и тем же советам и одинаково желая угодить советчице, они начали походить друг на друга манерами, походкой, покроем пиджаков, цветом галстуков и так

далее, вплоть до выражения лиц. Таким образом, учитель геометрии был похож на китайского пирата, а академик, при всей своей бородатости, на матадора. Утверждался некий тип мужчин, не поддающийся никаким соматическим характеристикам. Сабина имела обыкновение напевать: «Был у меня дружок, гвардеец бравый» и т. д. Этой привычкой заразился весь сонм ее любовников, от них — их друзья и знакомые, так что песенка превратилась в международный шлягер. Ее мурлыкали гангстеры из банды Аль Паконе, очищая сейфы Чикагского банка; пираты из шайки Ву-Най-На, пуская ко дну мирные джонки на Голубой реке, и ученые мужи из синклита бессмертных, составляя академический словарь. Дошло до того, что фигура Сабины, ее профиль, разрез глаз, форма ног грозили стать новым эталоном женской красоты. Путешественники, а пуще того репортеры дивились, находя повсюду женщин, словно вылепленных по одному образцу. Об этом кричали газеты, в научном мире было предложено несколько объясняющих это явление гипотез, что послужило поводом к ожесточенной полемике, не утихающей до сих пор. Общественное мнение склонялось в пользу полуфиналистской теории о нивелировке рас путем генных мутаций и надсознательного видового отбора. Лорд Барбери, пристально следивший за этими дебатами, стал странно поглядывать на жену.

Ну а Сабина Лемюрье с улицы Абревуар продолжала как ни в чем не бывало вести жизнь заботливой супруги и примерной хозяйки: ходила на рынок, жарила бифштексы, пришивала пуговицы, чинила мужу белье, обменивалась визитами с женами его коллег и регулярно писала престарелому дядюшке в Клермон-Ферран. В отличие от четырех своих сестер, она, видимо, не клюнула на романы миссис Смитсон и дала себе слово не множиться в погоне за любовными приключениями. Ложь, притворство и лицемерие, скажете вы, ведь Сабина и несметное количество ее порочных копий составляли единое целое. Но Бог не покидает даже самых великих грешников, не дает заглохнуть искорке света во мраке их душ. Должно быть, эта искра и нашла воплощение в одной восемнадцатитысячной части многоликой развратницы. Ибо верность Антуану Лемюрье как законному супругу она ставила превыше всего. Все ее поведение было подчинено этому похвальному принципу. Случилось так, что Лемюрье после ряда неудачных спекуляций залез в долги и как раз в это время сильно захворал, так что семейство очутилось в крайне стесненных, близких к нищете обстоятельствах. Не хватало на лекарства и на хлеб, нечем было заплатить за жилье. Для Сабины настали лихие дни, но, даже когда в дверь стучал судебный исполнитель и когда умирающий Антуан призывал священника, она стойко все сносила и ни разу не прибегла к толстому кошельку леди Барбери или миссис Смитсон. Впрочем, сидя у изголовья больного и слушая его хриплое дыхание, она не переставала следить за похождениями своих сестер (к тому моменту их было сорок семь тысяч), вникая в каждое их движение и откликаясь редкими вздохами на рокот многоголосого любовного оркестра. Сжатые зубы, легкий румянец, чуть расширенные зрачки — точно телефонистка, истово обслуживающая разветвленную сеть абонентов.

Однако же, принимая участие в этой вселенской оргии (и объединяя все ее части), в этой бесстыдной, блудливой, стенающей, изнемогающей кутерьме, и получая от этого удовольствие (неизбежно и закономерно, сообразно и соразмерно своему естеству), Сабина оставалась неутоленной и томилась вожделением. А все потому, что в ней с новой силой вспыхнула любовь к Теорему, которую она решительно хранила от него в тайне. Быть может, все сорок семь тысяч ее любовников были всего лишь проекциями этой неумемной страсти. Вполне допустимое объяснение. С другой стороны, позволительно предположить, что ее стремительно и непреодолимо засасывало в воронку судьбы. (См. изречение Шарля Фурье, высеченное на постаменте его статуи, что воздвигнута на границе бульвара и площади Клиши: «Стремления людские диктуются судьбою».) Сначала от молочницы, а потом из прессы Сабина узнала об

успехах Теорема. Со смятенной душой и затуманенным взором стояла она на выставке перед его «Девятиглавой женщиной», полной изящества, трагического абсурда и столь для нее многозначительной. Она увидела бывшего любовника совсем другим: очищенным, перелицованным, преображенным, раскаявшимся, сияющим новизной и светом. О нем одном она могла молиться: чтобы всегда были у него крыша над головой, теплая постель, сытная еда и бодрость духа и чтобы все возрастало его мастерство.

У Теорема были все те же угольные глаза, но безумие его прошло, хотя доказательства тому не исчезли. Просто художник мудро рассудил, что в мире найдется предостаточно веских доводов за и против чего угодно, в том числе опровергающих его сумасшествие, но утруждать себя их поисками не стал. Жизнь его протекала по-прежнему, в уединенных трудах. Сабиниными молитвами, он действительно писал все лучше и лучше, критики тонко подмечали духовный аспект его творчества. Его больше не видели в кафе, он стал немногословен даже с друзьями, все в нем дышало скорбью, как будто он сжился с огромным горем. Причиной такого переворота послужило то, что Теорем трезво взглянул на себя и понял, как гнусно он относился к Сабине.

Не проходило дня, чтобы он не честил себя подлой тварью, скотиной, мерзкой, ядовитой гадиной, неблагодарной свиньей. Ему хотелось повиниться перед Сабиной, умолять ее о прощении, но он не смел. Он снова побывал в Бретани и привез из паломничества две прекрасные картины, способные пронять до слез самого толстокожего лавочника, а также освеженное воспоминание о своей постыдной низости. Его чувство к Сабине стало смиренным, он даже сожалел о том, что был любим.

Антуан Лемюрье был при смерти, но не умер, а благополучно выздоровел, вернулся на службу, и мало-помалу в доме опять появился достаток. Все время, пока длилась пора невзгод, соседи с надеждой дожидались, когда же муж отдаст Богу душу, имущество пустят с молотка, а жена окажется на улице. Это были самые обыкновенные, славные, добрые люди, вовсе не желавшие зла чете Лемюрье, но, оказавшись зрителями мрачной драмы с крутыми сюжетными поворотами, перипетиями, воплями домовладельца, визитами судебного пристава и горячкой, они предвкушали развязку, достойную столь патетической пьесы. А Лемюрье, вот досада, взял и не умер. Все испортил! В отместку соседи стали жалеть его жену и восхищаться ею. «О мадам Лемюрье, вы так мужественно держались! Мы постоянно о вас думали, я хотела к вам зайти, а Фредерик говорил — не надо беспокоить, но я все знала и вот только вчера говорила месье Бреве: мадам Лемюрье была безупречна, просто нет слов!» Бедняга Лемюрье слышал эти речи и от привратницы, и от жильцов сбоку и сверху. В конце концов он стал думать, что всей его благодарности мало для такого подвига. Однажды вечером Сабина показалась ему совсем истощенной. Как раз в это время к ней подступал тысяча пятьдесят шестой по счету любовник: бравый жандармский капитан в номере гостиницы в Касабланке расстегивал ремень, приговаривая, что, когда хорошенько закусишь и выкуришь добрую сигару, нет ничего лучше, чем заняться любовью. Антуан Лемюрье, благоговейно глядя на жену, прижал ее руку к губам и взволнованно произнес:

— Голубка моя, ты у меня святая! Самая прекрасная, самая лучшая из всех! Настоящая святая!

В словах и обожающем взгляде супруга была невольная насмешка, которую Сабина не вынесла. Она отдернула руку, расплакалась и, сославшись на нервы, ушла в спальню. Когда она накручивала перед сном волосы на бигуди, пышнобородый академик внезапно скончался от разрыва аневризмы за столиком афинского ресторана, где сидел с Сабиной — она звалась там Кунигундой и считалась его племянницей. Имя Кунигунда может показаться несколько вычурным и книжным, но подумайте сами: в святцах едва ли наберется пятьдесят шесть тысяч

имен, так что капризничать не приходилось. Позабывшись о достойном погребении великого человека, Кунигунда вернулась в матрицу-Сабину, а та на другой же день водворила ее в жуткие труппы — во искупление постоянного надругательства над честью Антуана Лемюрье.

Кунигунда поселилась под именем Луизы Менъен в нищем Сент-Уэнском предместье, в одной из самых убогих лачуг, которые во множестве теснятся там, на гигантской свалке близ завода по переработке мусора, среди гор гниющих отбросов, где несет гарью и человеческими нечистотами. Лачуга была сколочена из старых досок и кусков толя и состояла из двух разделенных тощей перегородкой каморок. В одной жили хилый чахоточный старик и ухаживавший за ним слабоумный мальчишка, которого он день и ночь бранил придушенным голосом. Луиза Менъен долго не могла привыкнуть к такому соседству, равно как и к блохам, крысам, смраду, дракам, грубым нравам и прочим кошмарным атрибутам жизни в этом последнем круге земного ада. Леди Барбери, ее замужние сестры и все пятьдесят шесть тысяч вольных любовниц (число их все возрастало) на много дней потеряли аппетит. Лорд Барбери стал с удивлением замечать, что его жена порой внезапно бледнеет, у нее трясутся голова и руки, закатываются глаза. «Она что-то скрывает от меня», — думал он. Откуда ему было знать, что это просто Луиза Менъен в своей хибаре отбивалась от жирной крысы или воевала с клопами за место на лежанке. Вы, может быть, подумаете, что это искупительное нисхождение на дно, в мир старьевщиков и бродяг, мир зловония, гнусных насекомых, плесени и струпьев, голода, поножовщины, лохмотьев, пьянства и брани, заставило многотелую грешницу повернуть на стезю добродетели? Напротив. И Луиза Менъен, и пятьдесят шесть (к тому времени уже шестьдесят!) тысяч ее сестер, и четверомужняя жена стремились отвлечься, забыть о сент-уэнских труппах. Вместо того чтобы радостно принимать заслуженные и благотворные страдания, Луиза старалась ничего не видеть, ничего не слышать и рассеяться по всем пяти континентам подальше от этой грязи. Что ей легко удавалось. Имея шестьдесят тысяч пар глаз и ушей, совсем не трудно отвлечься от того, что видит или слышит одна из них.

К счастью, Провидение не дремало. Вот что случилось как-то погожим вечером, когда запахи барачных, фургонов и мусорных куч сливались в крепкую вонь с оттенком падали, когда над труппами парила легкая дымка, скрашивая уродство кособоких домишек и шлаковых гряд, и раздавались звонкие женские голоса: «Шлюха!» — «Воровка!» — «Паскуда!», а радио в шаткой забегаловке передавало интервью с велогонщиком Иде.

Луиза Менъен набирала из колонки воду в лейку, как вдруг из ближайшей кибитки вышел и направился прямо к ней жуткого вида субъект. Лицом, осанкой и свисающими до колен руками он походил на гориллу, на ногах у него были стоптанные башмаки без задников и непарные носки. Он подошел вразвалку, остановился около Луизы и стал молча пожирать ее горящими на заросшей физиономии глазками. Дело обычное: мужчины сплошь и рядом приставали к ней у колонки, а то и околачивались возле ее лачуги, но даже последние дикари не смели пренебречь хоть какой-никакой прелюдией. Этот же явно не собирался разводить церемонии и вел себя так деловито и напористо, будто садился в автобус. Луиза не решалась поднять глаз и видела только длинные ручищи, покрытые жесткой черной шерстью с корками засохшей грязи. Наполнив лейку, она пошла к дому, горилла все так же молча увязался за ней, семена на своих непропорционально коротких по сравнению с мощным торсом, кривых ногах, жуя табак и смачно харкая.

— Что вам от меня нужно? — спросила Луиза.

— Вишь, болячка намокла, — буркнул горилла, отодрав на ходу прилипшую к ляжке штанину.

Подошли к хижине. Луиза, ни жива ни мертва, рванулась в дверь и захлопнула ее перед носом непрошеного гостя. Но повернуть ключ не успела — одной рукой он распахнул дверь и



вломился следом. Ничуть не смущаясь ее присутствием, урод принялся бережно и неторопливо ощупывать через ткань свою сочащуюся гноем рану. В соседней камерке старик ругался без умолку и стонал, что проклятый мальчишка сведет его в гроб. Луиза застыла посреди комнаты и в ужасе глядела на гориллу. Тот поднял голову, встретил ее взгляд, помахал рукой, веля ей подождать, а потом закрыл дверь, вынул изо рта и положил на стул табачную жвачку.

В Париже, Лондоне, Шанхае, Бамако, Батон-Руже, Ванкувере, Нью-Йорке, Бреслау, Варшаве, Риме, Пондишери, Сиднее, Барселоне — во всех концах света Сабина не дыша следила за движениями гориллы. Леди Барбери пожаловала к друзьям на светский раут, но, не дойдя нескольких шагов до радушно встречавшей ее хозяйки, вдруг отшатнулась, зажала нос, выкатила глаза и как подкошенная упала на колени отставного полковника. В Напье (Новая Зеландия) Эрнестина, последняя по счету сестра из шестидесяти пяти тысяч, впиалась ногтями в руку молодого банковского клерка, изрядно его озадачив. Сабина могла бы внедрить Луизу Меньен в любое из бесчисленных тел, такая мысль у нее промелькнула, но она сочла, что не имеет права уклоняться от испытания.

Горилла изнасиловал Луизу Меньен несколько раз подряд. В промежутках он засовывал в рот жвачку, которую потом вынимал и снова оставлял на стуле. За перегородкой все причитал старик, слышался стук — немощной рукой он швырял в стенку деревянные башмаки, пытаясь прибить мальчишку, а тот дурашливо ржал. Совсем стемнело. При каждом движении от гориллы волнами расходился тяжелый дух, пропитавший его косматую шерсть и лохмотья, — несло затхлостью, тухлятиной, козлом и потом. Наконец, окончательно заправив жвачку в рот, он деловито положил на стол монету в двадцать су и с порога бросил: «Я еще вернусь».

В ту ночь ни одна из шестидесяти пяти тысяч сестер не сомкнула глаз, и слезы их, казалось, никогда не иссякнут. Теперь они убедились, что радости любви, расписанные в романах миссис Смитсон, это просто сказка и что лучший из мужчин вне священных уз брака может дать лишь то, что имеет, то есть (думали они) не намного больше, чем мерзкий горилла. В итоге несколько тысяч, порвав с любовниками — да те и сами устали от их бесконечных рыданий и брезгливых гримас, — решили честно зарабатывать свой хлеб. Одни поступили в услужение или в работницы на фабрику, другие подались в больницы и приюты. На Маркизских островах целая дюжина Сабин нанялась в лепрозорий ухаживать за прокаженными. Увы, этот порыв охватил далеко не всех. И даже наоборот, убыль из-за новообращенных подвижниц вскоре с лихвой восполнилась за счет приумножения грешниц. Да и раскаяние у некоторых продлилось недолго, так что, воспарив, они снова пали и погрязли в непотребстве.

К счастью, горилла не уставал навещать Луизу Меньен. Он был все так же страшен и груб, а вонял раз от разу все гаже, и его звериная похоть оказалась чудодейственным воспитательным средством. Каждый раз, когда он появлялся в лачуге, миллионы блудниц содрогались от омерзения, и тысяча или две из них подавались в честные труженицы и праведницы, хотя и не без риска передумать и вернуться в прежнюю колею. В итоге, с чисто арифметической точки зрения Сабина не слишком продвинулась по пути добродетели, зато число ее любовников установилось более или менее стабильно на уровне шестидесяти семи тысяч, и это уже было кое-что.

Как-то раз горилла заявился к Луизе Меньен с утра пораньше и притащил здоровенный мешок, в котором лежало восемь банок печеночного паштета, шесть банок лосося, банка гусиного, три головки козьего сыра, три — камамбера, десяток крутых яиц, на пятнадцать су соленых огурцов, круг колбасы, четыре кило свежего хлеба, дюжина бутылок красного вина, бутылка рома да еще фонограф образца 1912 года, к которому прилагались три цилиндра с записью любимых произведений гориллы. То были, в порядке предпочтения, «О чем поет золотая нива», какой-то шуточный монолог и дуэт Шарлотты и Вертера. Итак, горилла скинул с плеча

мешок, заперся в лачуге с Луизой Меньен и вышел только на другой день часов в пять вечера. Обо всем, что происходило в течение этих двух суток за закрытыми дверями, приличнее будет умолчать. Достаточно сказать, что за это время двадцать тысяч блудниц утратили вкус к плотским утехам и посвятили себя тяжелому труду на благо ближних и помощи обездоленным. Правда, девять тысяч (почти половина) вскоре снова пленились грехом. Но в целом баланс был благоприятным. С тех пор средний прирост спасенных оставался постоянным, несмотря на падения и откаты. Можно недоумевать, почему результат не оказался более разительным, коль скоро все великое множество тел подчинялось одной душе. Однако душа прилепляется к плоти житейскими привычками, в первую очередь самыми простыми, незамысловатыми, повседневными. Пример Сабины подтверждает это. Те из ее сестер, что гуляли направо и налево, сегодня с одним, завтра с другим, и порхали с места на место, первыми пришли к покаянию. Другие же были накрепко привязаны к порочной жизни рюмочкой перед обедом, уютной квартирой, салфеткой в кольце на ресторанном столике, улыбкой привратника, сиамской кошкой, борзой собакой, укладкой волос раз в неделю, радиоприемником, портнихой, мягким креслом, партиями в бридж и, наконец, возможностью перекинуться с кем-то парой слов о погоде и модном галстуке, о кино, о любви и смерти, о сигаретах и ревматизме. Но и эти бастионы падали один за другим. Каждую неделю горилла проводил у Сабины двое-трое суток, непрерывно, по-скотски напивался и истязал ее своим пылом, вонью и грязью. Тысячи и тысячи Сабин бросали своих сожителей, обращались к чистоте и благим делам, возвращались к старому, снова рвали с ним, раздумывали, колебались, выбирали, порывались, спотыкались, опускались и поднимались и по большей части в конце концов укреплялись в целомудрии, трудолюбии и самоотречении.

Ангелы, не помня себя от азарта, перевешивались через небесные перила и следили за ходом славной битвы; каждый раз, когда горилла переступал порог Луизы Меньен, они запевали радостную песнь. Сам Господь приходил иной раз взглянуть, что творится. Однако восторга ангелов не разделял и только усмехался да отечески осаждал их. «Ну-ну! — говорил Он. — Что тут такого? Душа как душа. То же самое происходит во всех других бедных душах, которых Я не наделил шестьюдесятью семью тысячами тел. Конечно, в данном случае борьба особенно наглядна, но это потому, что так Мне было угодно».

Ну а на улице Абревуар Сабина с напряженным вниманием отмечала все колебания в сети и вела бухгалтерию в домашней расходной книге. Когда число раскаявшихся сестер достигло сорока тысяч, она почувствовала облегчение, хотя бдительность ее не ослабла. Нередко по вечерам в семейной гостиной ее лицо озарялось лучезарной улыбкой, и Антуан Лемюрье окончательно уверялся в том, что она разговаривает с ангелами. Однажды воскресным утром Сабина вытряхивала в окне покрывало, а Лемюрье разгадывал трудное слово в кроссворде, как вдруг по улице Абревуар прошел Теорем.

— Гляди, — произнес Лемюрье, — вон идет тот сумасшедший. Давненько он не появлялся.

— Не нужно называть месье Теорема сумасшедшим, — мягко возразила Сабина. — Он великий художник!

Теорем не спеша шел навстречу судьбе, ноги провели его вниз по улице Соль, довели до Bloisного рынка за Клиньянкурской заставой. Не задумываясь о глубоком смысле случайного и считая, что бредет наугад, он очутился в Сент-Уэнском предместье, среди обитателей трущоб. Они смотрели на него с глухой враждебностью, какую питают оборванцы к хорошо одетому пришельцу, чуя в нем зеваку, охочего до живописной нищеты. Теорем прибавил шагу и, дойдя до последних хижин поселка, столкнулся с Луизой Меньен, которая несла полную лейку воды. На ней были латаное-перелатаное черное платишко и деревянные башмаки на босу ногу. Ни слова не говоря, Теорем взял у нее лейку, проводил ее до дому и вошел вслед за нею. В хибаре

стояла тишина — старик сосед поплелся на барахолку подыскать себе тарелку взамен разбитой. Теорем взял свою Сабину за руки, у них не находилось слов, чтобы попросить прощения за то, в чем каждый считал себя виноватым перед другим. Художник опустился на колени у ног любимой, она хотела поднять его, но упала на колени сама, глаза у обоих наполнились слезами. В это самое мгновение на пороге появился горилла с громадным мешком провизии за спиной — он намеревался провести с Луизой целую неделю. Молча поставил он мешок на пол, молча ухватил за шею одной рукой женщину, другой — мужчину, приподнял обоих, встряхнул, как два флакона, и задушил. Они умерли вместе, лицом к лицу, глаза в глаза. Изверг усадил бездыханные тела на стулья, сам уселся за стол, вскрыл банку печеночного паштета и высосал бутылку красного. Так он сидел до самого вечера, пил, жрал и крутил на фонографе «О чем поет золотая нива». А когда стемнело, связал два трупа друг с другом и засунул в свой мешок. Выйдя из лачуги с этой поклажей, он ощутил слева в груди какое-то трепыхание, отдаленно похожее на жалость, и не поленился сорвать на окошке ближайшего фургончика цветок герани и бросить его в мешок. Долго вышагивал он широкими улицами и за час до полуночи спустился к Сене. Все случившееся всколыхнуло в нем зачатки сознания. Так что, когда на набережной Межиссери он зашвырнул мешок с трупами в воду, его вдруг осенило, что жизнь нудна и утомительна, как толстенная книга. Первым его побуждением было покончить с ней раз и навсегда, однако же у него хватило такта не топиться тут же, а дойти до улицы Лавандьер-Сент-Оппортюн и там в подворотне перерезать себе горло.

В ту же секунду, когда была задушена Луиза Менъен, все шестьдесят семь с лишним тысяч ее сестер поднесли руку к горлу и испустили дух с улыбкой на устах. Одни из них, как, например, леди Барбери и миссис Смитсон, покоятся в пышных гробницах, другие — под простыми земляными холмиками, которые очень скоро сровняет время. Сабина же похоронена на маленьком монмартрском кладбище Сен-Винсен, где ее по временам навещают родные. Душа ее, надо думать, попала в рай и в день Страшного суда радостно соединится с шестьюдесятью семью тысячами своих воскресших тел.

*Перевод Н. Малевич*

# Вино парижского разлива

Жил в одной деревне в краю Арбуа Фелисьен Герийо, винодел, который не любил вина. А меж тем происходил он из хорошей семьи. Его отец и дед, тоже виноделы, скончались, не дожив до пятидесяти, от цирроза печени, да и из материнской родни никто никогда не отворачивался от бутылки. И надо же — такая напасть омрачила бедняге Фелисьену всю жизнь. У него были лучшие в округе виноградники и лучшие погреба. Жена его Леонтина Герийо была женщина мягкая и сговорчивая, лицом красивая и фигурой ладная, но не более, чем требуется, чтобы супругу спокойно спалось. И быть бы Фелисьену счастливейшим из виноделов, не питай он непреодолимого отвращения к вину. Каких только усилий он не прилагал, дабы избавиться от этого постыдного недостатка! Каких только вин не перепробовал в тщетной надежде, что вот наконец приоткроется перед ним заветная дверь в неведомый рай. Он пил лучшие вина с берегов Луары и Роны, все бургундские и бордоские сорта, шампанское, эльзасское и алжирское, вина сладкие и кислые, старые и молодые, игристые, красные, белые и розовые, легкие и крепленые, не пренебрег рейнскими, токайскими, испанскими и итальянскими лозами, отведал и кипрского муската, и португальского портвейна. Но каждая попытка приносила ему лишь новое разочарование. Так было со всеми винами, вплоть до родных арбуазских. Даже в самую жаркую пору, когда у добрых людей пересыхает в горле, стоило Фелисьену сделать глоток, как ему — страшно и вымолвить! — казалось, будто он хватил ложку рыбьего жира.

Роковую тайну мужа знала только верная Леонтина, знала и молчала. И вправду, как было Фелисьену признаться, что он не любит вина? Все равно что сказать: не люблю своих детей, нет, даже хуже — ведь случается, отец ненавидит родного сына, но никогда не бывало в краю Арбуа такого, чтобы кто-нибудь не любил выпить. Это было проклятие Господне — не иначе как за страшные грехи, злая шутка природы, какой-то врожденный изъян — о таком и помыслить не может нормальный пьющий человек. Можно не любить вареную морковь, пареную брюкву, тертый хрен, молочную пенку. Но не вино. То же самое, что не любить воздух, которым дышишь, — оба одинаково необходимы для жизни. Ясно поэтому, что никоим образом не из ложной гордыни, а просто-напросто от стыда наш Фелисьен Герийо...

Вроде бы недурно выходила у меня эта питейная история. Но что-то она мне вдруг прискучила. Не те сейчас времена, да и к местам этим не лежит у меня душа. Нет, решительно, прискучило мне это все, а писать историю, которая прискучила, — все равно что Фелисьену Герийо выпить стакан вина. И не маленький я уже — пить рыбий жир. Поэтому оставлю-ка я эту историю. Хотя, по правде говоря, с Фелисьеном Герийо могло приключиться много смешного и грустного, трогательного и трагического, но кончилось бы все непременно хорошо, и в финале лилось бы рекой доброе арбуазское вино. Вот, например, представляю себе такую сцену: идет Фелисьен Герийо, покачиваясь из стороны в сторону, дабы ввести в заблуждение земляков, а те, без тени сомнения, дивятся и уважительно прищелкивают языком, и кто-нибудь один обращается к остальным, выражая общее мнение:

— Нет, вы посмотрите только. Не иначе как запил наш Фелисьен, а ведь парню и тридцати еще нет! Оно, конечно, и папаша-то его, Ашил Герийо его звали, тоже пил, ох как пил! Да что я вам рассказываю, вы ж и сами его знали. Кто-кто, а Ашил Герийо не конфетками баловался, это вам всякий скажет. А ведь никогда с копыт не валился, всегда на ногах держался. Вот что значит настоящий винодел! Настоящий мужчина! Питух настоящий, чего там! Так вот, папаша-то его, Ашил Герийо, уж на что был питух, всем питухам питух. Мужчина, ничего не скажешь! Папаша-то, говорю, Герийо, я вам про Ашила толкую, не про отца его, старого Огюста, деда Фелисьенова, стало быть, нет. То есть тот тоже был выпить не дурак. Но я-то про Ашила, ну как

же, Ашил Герийо, что отдал Богу душу лет пятнадцать тому, еще в тот год жарница стояла — не приведи Господь, и блох было видимо-невидимо, так кишмя и кишели, замучили насмерть и людей, и скотину... Ну, помните, помните, тогда еще Клодетта подпоила жандармов, что приехали разбираться с кобылой Пануйо. Жюль Пануйо, тоже, к слову сказать, питух хороший, всех бы нынешних перепил, ей-же-ей. Они с нашим Ашилом дружки были — водой не разольешь, а уж весельчаки оба! Раз нарядились чертями да такого нагнали страху на служанку нашего кюре... Нет уж, не буду я вам про это рассказывать, животики ведь надорвете со смеху, а чего это мне вас задарма смешить, вот если по бутылочке бы с носа... Ну ладно, я-то вам про папашу Герийо, про Ашила, сколько ж это ему было, когда начал он горькую пить... Посчитать-то проще простого, родился он через два дня после моего папаша, ну да, их, стало быть, и в солдаты забрили вместе, так вот, говорил он нам как-то раз, папаша-то мой, мы тогда, помню, сидели, трепались, как вы теперь говорите, о том о сем, когда бишь это было, лет десять назад, вот-вот, десять лет тому. Ну как же, дед мой двоюродный Глод-Пьер жив еще был, приехал к нам в тот раз на телеге Тиантье-Костыля, о-о, тот тоже парень был хоть куда, за юбками гоняться горазд, ни одной не пропускал, ей-богу, ну вот, лет десять и есть, может, одиннадцать, ну, десять-одиннадцать, разница-то невелика, верно, главное, как оно было дело. Так, значит, сидим мы все втроем, я, папаша мой и дед двоюродный, сидим за бутылочкой, бутылочка посреди стола стояла, так себе винишко, без затей, папаша мой, помню, его делал из мелкого винограда, кислятина, что говорить, зато уж когда уродится, так уродится, ну а в общем сносное винцо получалось, славное, и шло хорошо, и теплыми камушками со склона Лаббе отдавало. Ну, что говорить... Сидим мы, значит, болтаем о том, болтаем о сем, что на ум взбредет, так, лясы, стало быть, точим. Ну вот, и тут Глод-Пьер, дед-то мой двоюродный, и говорит: «А как там жив-здоров дружок твой, ну, тот, с которым вы в армию вместе уходили? Как его звали-то, — говорит (дед-то, я ж сказал, нездешний был, мой-то дед двоюродный), — как бишь его звали, — говорит, — как бишь его...» — «Да Антуан Бонгале», — папаша мой ему. «Нет, не он». — «Тогда Кловис Руйо?» — «Да нет, нет, ну как бишь его...» — «Адриан Бушо?» — «Нет-нет-нет, постой-ка... этот... Ага! Ашил! Ашил его звали!» — «А-а! Так это вы про Ашила Герийо, — мой папаша говорит. — Ну что вам сказать, неплохо ему, а коли и плохо, не жалуется. Упокоился он рядом со своими стариками у нас на кладбище, вот что. Бедняга Ашил, уж как он мучился перед смертью. Дня не дожил до пятидесяти двух, точно, концы-то он отдал на другой день, как мне самому пятьдесят два стукнуло, а я ж его на два дня старше. Ашил-то, царствие ему небесное, запил горькую да в два года и загнулся». Вот видите, в два года, папаша мой так и сказал. Отнимите-ка от пятидесяти двух два — пятьдесят получается. Ашилу, выходит, пятьдесят было, когда он запил, а сынку-то его, глядите, тридцати ведь еще не сравнялось. Одно вам скажу: Фелисьен — настоящий мужчина, и пьет серьезно.

Ну а потом Фелисьен, опираясь на свою незыблемую репутацию пьяницы, мог бы, например, возмечтать о политической карьере и во время избирательной кампании был бы вынужден пить на людях. Да тут сюжет для целого романа — основательно проспиртованного, до одури натуралистического и конечно же психологического, но меня клонит в сон при одной мысли об этом. Слишком я погряз в настоящем. Какой-то встречный поток, как я ни бьюсь, выносит меня в наше время, и от его волн оседают в моей голове все нынешние шлаки. И не хочется мне рассказывать ни о зеленых холмах, ни о веселых деревенских пьяницах. А потому расскажу я вам другую грустную историю на ту же тему. Происходить она будет в Париже. А героя будут звать Дювиле.

Итак, жил в Париже — а дело было в январе 1945 года — некий Этьен Дювиле, лет тридцати семи — тридцати восьми от роду. И он безумно любил вино. Но к несчастью, вина у него никогда неводилось. Оно стоило двести франков бутылка, а богачом Дювиле не был.

Служил он по казенной части и был бы рад-радехонек брать взятки, если бы было за что, да только место ему досталось недоходное. А надо вам сказать, что у него были жена, двое детей и семидесятидвухлетний тесть, желчный и капризный старик, который каждый месяц с видом благодетеля отдавал в семейный котел свои жалкие полторы тысячи франков пенсии, зато есть мог один за целую ораву тестей, да только кто б ему дал. Свинина в ту пору стоила триста франков килограмм, яйца — двадцать один франк штука, а вино, повторяю, двести франков бутылка. Вдобавок холод стоял собачий, в доме минус четыре, и ни угля, ни дров. Единственным спасением был электрический уют: когда все собирались дома, его включали в сеть и он переходил из рук в руки. И когда он оказывался у тестя, тот не желал больше с ним расставаться. Приходилось отнимать силой, впрочем, как и хлеб, лапшу, овощи и мясо, когда оно изредка появлялось на столе. Между стариком и Дювиле то и дело вспыхивали ссоры — оба кипели, шумели, язвили и поносили друг друга. Тесть уверял, что за полторы тысячи в месяц он вправе рассчитывать на лучшую пищу и максимум удобств. Зять в ответ предлагал ему, если он чем-то недоволен, вообще убираться на все четыре стороны, а жена, выйдя из терпения, называла Дювиле неблагодарной скотиной. Вообще-то и в прежние времена, когда жилось полегче, зять и тесть с трудом выносили друг друга, однако тогда для их взаимной неприязни находилась пища куда более изысканная и благородная, которая была в то время неистощима, — я говорю о политике. Один принадлежал к радикал-социалистам, другой — к социал-радикалам, и пропасть, лежавшая между ними в силу столь противоположных убеждений, была вечным поводом для стычек, оттеснявшим на второй план все остальные. Но с тех пор, как перевелось вино, не стало и споров на эту благодатную тему. Дело в том, что до войны выпивка и политика шли рука об руку и вместе расцветали пышным цветом. Выпивка подпитывала политику, а политика, в свою очередь, выпивку, и их симбиоз был громогласным и плодоносным. Но теперь, без винных паров, политика стыдливо пряталась на страницах газет. Теперь все жалобы, пламенные воззвания, крепкие словечки и проклятия кружили вокруг самых низменных тем — еды и топлива. Как и многих других, семью Дювиле, словно наваждение, преследовали мысли о съестном. Мечты и сновидения детей, их матери и деда были полны колбас и паштетов, жареных кур, шоколада и пирожных. Дювиле — тот мечтал о вине. Он грезил о нем, желал его с почти чувственной страстью, порой доходя до неистовства; в такие минуты ему казалось, будто душа его комком застревает в пересохшем горле. Замкнутый по натуре, он никому не говорил о сжигающей его жажде, но стоило ему остаться в одиночестве, как его обступали дивные видения: бутылки, бочонки, кувшины и графины красного вина; пребывая во власти грез, он озирает все это красное изобилие как бы со стороны и чувствовал, что с его губ вот-вот сорвется отчаянный стон обреченного, который из последних сил пытается удержать ускользающую жизнь.

Однажды — это было в субботу вечером, — когда мысли о вине терзали его особенно жестоко, он лег рядом с женой, уснул беспокойным сном, и вот что ему приснилось. Как будто он вышел из дому часов в девять утра и в зимних потемках направился к станции метро. Она была пуста. У турникета стояла женщина в форме, и Дювиле узнал в ней свою жену. Прокомпостировав его билет, она равнодушно сказала: «Наши дети умерли». Он едва не закричал от боли, но взял себя в руки и подумал: «В конце концов, я ведь могу узнать об этом не сейчас, а позже. Пойду-ка все-таки на праздник». Он стал спускаться по каменной винтовой лестнице, которая вела в недра метро, и позабыл о детях. Когда он добрался до третьей площадки, перед ним замаячило темное пятно, и он углубился в похожий на пещеру туннель с шершавыми стенками и сводами под нешлифованный гранит. Наконец Дювиле очутился перед низкой дверцей, которую открыл ему знакомый официант из соседнего кафе. Переступив порог, Дювиле оказался в неравномерно освещенной комнате. Мрак полосами застилал стены, но

сквозь одну, частично разрушенную, просачивался сероватый дневной свет, от которого у нашего героя защемило сердце. Посреди комнаты стоял накрытый стол, ломившийся от бутербродов и пирожных. А из двух фонтанов, стекая в расположенные уступами мраморные раковины, били две струи вина — белая и красная. Дювиле удивился, однако головы не потерял. Он не спеша выпил для заправки глоток белого, которое почему-то не имело никакого вкуса, и принялся за бутерброды, предвкушая, что они — особенно тот, что с сыром, — дадут ему законное основание перейти к красному. Аппетитные на вид бутерброды тоже оказались совершенно безвкусными и напоминали вату; Дювиле ощутил смутное разочарование, и ему подумалось, что его опять морочит сон. Чтобы не проснуться, он кинулся к красному фонтану и, склонившись над раковиной, принялся пить как зверь на водопое. Он жадно всасывал вино, но, как ни старался, в рот попадало совсем мало, так мало, что, по правде сказать, вкуса он вовсе не разобрал. В досаде и тревоге он поднял голову и огляделся. По другую сторону стола восседали в огромных креслах невесть откуда взявшиеся три человека — заплывшие жиром, пузатые, с широкими начальственными лицами — и смотрели на него с недобрыми ухмылками. Дювиле хотел убежать, но вдруг обнаружил, что на нем нет ботинок. Он подобострастно заулыбался, не ощущая при этом ни тени стыда. Один из мужчин поднялся и заговорил с ним, не открывая рта: каждая его мысль запечатлевалась в мозгу Дювиле, не искаженная словами. «Мы богаты и счастливы, — безмолвно вещал толстяк. — Мы живем здесь, в недрах, укрытые от страданий и опасностей мира. А чтобы чувствовать себя еще счастливее, мы любим думать о чужих мучениях. Мы часто играем, как будто мы бедные, несчастные, голодные и холодные, — это так приятно. Но вживе все куда интереснее. Поэтому я велел пригласить вас...» Тут речь или, вернее, мысль счастливого человека стала путаной и непонятной. И вдруг его по-прежнему безмолвный голос стал громовым и непреклонным: «Обманщик! На вас золотое обручальное кольцо и золотые часы, подарок к первому причастию! А ну давайте их сюда!» Все три счастливица, нахлобучив офицерские фуражки, вскочили с мест, и Дювиле, почему-то вдруг снова в ботинках, бросился опрометью в глубину зала. Но бежать было некуда. Загнанный в угол, он сунул руку в карман пальто, вытащил оттуда свою жену и попытался спрятаться за ее спиной. Однако между ним и преследователями стал сгущаться странный клетчатый туман. Дювиле пошел вдоль этой завесы и шел до тех пор, пока клеточки не приобрели форму зарешеченного окошка, через которое он увидел жену, продававшую билеты на метро, талоны на хлеб и мочалки из железной проволоки. Но он не остановился и свернул в коридор, ведущий вниз, с тревогой думая о том, что жена уже ждет его на платформе. Коридор был длинный, в несколько километров, но Дювиле даже не пришлось шевелить ногами, чтобы добраться до конца: он лишь отсчитывал в уме расстояние. На платформе в его душу снова закралось подозрение, что он видит сон, потому что пространство под сводом как бы делилось на темные и светлые участки, края которых не совмещались друг с другом. В одной из таких нестыковок, в полутьме, Дювиле обнаружил жену. Она была какой-то бледной и расплывчатой, а при виде ее нелепой шляпки с пером ему стало ужасно неловко. Он быстро огляделся: нет ли среди пассажиров его начальника канцелярии? «Ты понесешь папу, — сказала ему жена. — Он там, в корзине». Действительно, в нескольких шагах позади нее Дювиле разглядел тестя — тот торчал в одном из четырех гнезд корзины для бутылок. Старик стоял навтыжку, ноги вместе, руки по швам, а на голове его красовался ярко-красный колпак, как у африканского стрелка. Дювиле без особого усилия поднял корзину вместе с содержимым и отнес ее к краю платформы. Жена подошла к нему, и все трое стали поджидать поезд. Для Дювиле этот поезд вдруг стал единственной, последней надеждой, и сердце его наполнилось тревожной радостью. Наконец он услышал доносившееся из туннеля глухое урчание: приближался состав; но из тьмы выехал поезд-малютка, крошечная детская игрушка, из тех, что умещаются в картонной коробке.

Жестокое разочарование, столь же безмерное, как минуту назад надежда, пронзило сердце Дювиле. Боль была такой отчаянной, что ему показалось, будто пришел его смертный час, и он со стоном проснулся.

Дювиле так и не смог больше заснуть и до самого утра все думал про свой сон. Постепенно все новые и новые детали всплывали из глубин его сознания и обретали отчетливую форму. А кульминационным моментом было для него краткое пребывание в подземелье счастливой жизни. Дивные картины преследовали его все воскресное утро. Жене и детям он отвечал рассеянно, норовил уединиться и за что бы ни взялся, то и дело замирал, прислушиваясь к плеску винных фонтанов и журчанию струй, перетекавших из одной раковины в другую. В одиннадцать утра он, как обычно по воскресеньям, отправился за продуктами для всей семьи. Уже три дня обещали выдать по талонам вино, вот-вот, как уверял лавочник, и у Дювиле было предчувствие, что это произойдет именно сегодня. Но, вопреки его ожиданиям, вино опять не подвезли; Дювиле был разочарован столь же жестоко, как тогда, во сне, на станции метро, при виде игрушечного поезда. Он вернулся домой; жена спросила, не подхватил ли он грипп — что-то на нем совсем лица нет. За обедом он беспокойно ерзал и ни с кем не разговаривал. Струи винных фонтанов журчали в голове печальной и неотвязной музыкой. Ел он без аппетита, ничего не пил. На столе стоял графин с отвратительно прозрачной водой.

Обед близился к концу, а Дювиле все еще перебирал картины своего сна. Вспомнив о корзине для бутылок, он машинально поднял глаза на тестя. И тут в его погасшем взоре мелькнул огонек любопытства и удивления. Он вдруг увидел, какое занятное у старика сложение. Худая фигура с узкими, покатыми плечами, тощая шея, на которой держалась маленькая головка с красным лысым черепом, — все одно к одному. «Нет, это уже не сон, — сказал он себе, — как есть бутылка бордо». Фантазия показалась ему нелепой; он попытался отвлечься, но, не в силах совладать с собой, то и дело украдкой поглядывал на старика. С каждой минутой сходство становилось все разительней. Особенно алая лысина — ну точь-в-точь пробка на бутылочке доброго вина.

Чтобы избавиться от нового наваждения, Дювиле ушел из дома, но вечером, едва он увидел тестя за ужином, сходство опять бросилось ему в глаза с такой отчетливостью, что у него заколотилось сердце. Старик в конце концов почувствовал его пристальный взгляд, удивился и тут же полез в бутылку:

— Что вы такого во мне увидели, что так на меня таращитесь? По-вашему, я слишком много ем? По-вашему, полутора тысяч в месяц недостаточно за капустные кочерыжки, гнилую картошку и мороженую морковь! Ха-ха-ха!

Зять покраснел до ушей и смущенно забормотал извинения. Все привыкли к тому, что он на такие выпады только огрызался, и неожиданная перемена в его тоне поразила домочадцев. И уж совсем удивительной показалась всем заботливость Дювиле. Когда после ужина дети, расшалившись, стали пихать деда, отец прикрикнул на них:

— Вы что? Не опрокиньте его. И вообще отойдите от греха, малы еще его трогать!

Спал он опять плохо; его одолевали кошмары, но на этот раз в них не было ни вина, ни тестя. А проснувшись, он впервые в жизни ощутил тоску и досаду при мысли о том, что надо идти на работу. Дювиле всегда с охотой ходил в свою канцелярию и предпочитал, как и многие мужчины — хотя мало кто из них в этом признается, — рабочий кабинет домашнему очагу. Но в то утро ему захотелось остаться дома. Семейная жизнь вдруг стала для него необъяснимо притягательной. Уже в прихожей, собираясь выйти, он услышал стон. Не успев еще толком разобрать, откуда доносится этот жалобный зов, Дювиле ринулся в комнату тестя и нашел его лежащим полу. Старик обо что-то споткнулся и, падая, ударился головой об угол комода. Зять, весь дрожа, поднял его и повел в ванную комнату. Из небольшой ранки над бровью шла кровь.



Дювиле застыл, завороженно глядя на дивную красную жидкость, которая текла, как из чудесного фонтана во сне. Только появление жены вывело его из оцепенения, и, пока та хлопотала, промывая ранку, он пробормотал себе под нос: «Счастье еще, что он ударился под самой пробкой. Главное, сам уцелел».

С этого дня Этьен Дювиле ходил на работу, с трудом преодолевая себя. Рабочий день тянулся для него бесконечно долго; ему не давали покоя тревожные мысли, он с ужасом думал, как бы тесть не разбился ненароком в его отсутствие. Едва дождавшись конца работы, он бежал к метро, а дома с порога, запыхавшись, спрашивал: «Как дедушка? Все в порядке?» С облегчением узнав, что все благополучно, Дювиле весь вечер не отходил от тестя, не зная, как и услужить: подвигал ему кресло, подавал мягкую подушку, оберегал каждый его шаг, следя, чтобы старика не ударило дверью или чем-нибудь еще, — словом, берег, как мог. Старик не остался равнодушным к этой неожиданной перемене и отвечал любезностью на любезность, так что в доме воцарилось наконец доброе согласие. Однако иногда тестя одолевали смутные опасения, когда он замечал, что зять бродит вокруг него со штопором в руке.

— Черт возьми, Этьен, — не выдержал он однажды, — с какой стати вы все время таскаете этот штопор? На кой он вам?

— Вы правы, — согласился Дювиле. — Он слишком мал.

И, сокрушенно вздохнув, убрал штопор в ящик стола.

Как-то около полудня, спеша из канцелярии домой к обеду, Дювиле встретил в метро своего бывшего однополчанина, с которым они вместе отступали в сороковом году. Солдату всегда есть что вспомнить, а бутылочка на фронте — не последняя радость. И вот однополчанин напомнил, как они отсиживались однажды в брошенном винном погребе. «А помнишь сержанта Моро, как он бутылки-то открывал? Кочергой хрясь! — и отбивал горлышко, ровненько, аккуратно по плечики». Перебирая в уме картины боевого прошлого, Дювиле пришел домой. Лицо его озаряла какая-то тайная радость, глаза были слегка выпучены.

— Как дедушка? Все в порядке?

— Ку-ку, — весело отозвался старик, высунув голову в приоткрытую дверь.

Все от души рассмеялись, и жена позвала к столу. Когда тесть уселся, Дювиле вдруг подошел к нему вплотную, держа в правой руке кочергу.

— Не двигайтесь, — сказал он, пальцем левой приподняв ему подбородок.

Старик простодушно улыбался. Дювиле, отступив для удобства на шаг, замахнулся и лихо врезал кочергой по шее тестя. Удар был силен, но не смертелен. Бедняга взвыл от боли. Перепуганные жена и дети, крича и умоляя, попытались оттащить Дювиле, но куда там! Дювиле как с цепи сорвался. По счастью, на подмогу прибежал сосед, встревоженный шумом за стеной. Безумец, приняв вошедшего за бутылку бургундского, переключился на него: бургундские вина он особенно уважал. Но тут уж Дювиле получил такой отпор, что вынужден был ретироваться. Он кинулся вон из квартиры и помчался вниз по лестнице, по-прежнему крепко сжимая кочергу. На улице его взору открылось дивное зрелище. Десятки и десятки бутылок, самые разные сорта и марки вин расхаживали по тротуару, кто в одиночку, кто группами. Он уже заметил было подходящую парочку: приземистую бутылку бургундского с широким дном и стройную, с длинным, узким горлышком бутылочку эльзасского, но тут его внимание привлек клошар: такой запыленной бутылочкой пренебречь было просто невозможно. Дювиле бросился к нему и оглушил ударом кочерги. Случившиеся поблизости американские солдаты с трудом усмирили дебошира. Он был доставлен в участок, где изъявил желание выпить комиссара полиции.

Сейчас, насколько мне известно, Дювиле пребывает в лечебнице для умалишенных и вряд ли скоро выйдет оттуда, поскольку врачи поят его одной минеральной водой. К счастью, я

хорошо знаю его жену и тестя и надеюсь со временем убедить их отправить больного в Арбуа, к виноделу по имени Фелисьен Герийо, который после многих приключений, заслуживающих отдельного рассказа, наконец-то пристрастился к вину и пьет горькую теперь уже по-настоящему.

*Перевод Н. Хотинской*

Прикрыв дверь папочкиного кабинета, Бертран д'Алом отвел ладонью завиток с моей шеи и поцеловал меня. Я закрыла глаза. Мне показалось, я взлетаю. Свершилось, я чувствовала себя легкой и свободной, я сбросила тяжкий груз страхов, затаенных желаний, подспудного любопытства, тоски, обид и тревог, что копились долгими годами детства и мучительного взросления. Все растворилось в ощущении невероятного счастья. Он сказал: «Жозетта, я люблю вас, а вы?» Я ответила: «Люблю».

Скрипнула дверь, послышалось покашливание: мама и Пьер предупреждали, что сейчас войдут. Мы поспешно уткнулись в семейный альбом с фотографиями. Потом сидели все вместе, показывали Бертрану: вот это наш дед, а это прадед; говорили, само собой, о пресловутом законопроекте.

В половине восьмого вернулся из Дворца правосудия папочка. При д'Аломе он делался нежным со мной до невозможности — смотрел так ласково, смеялся, балагурил. Родителям ужасно хотелось, чтобы я стала графиней, и они всячески давали понять Бертрану, что я для него превосходная партия, надеясь, что он поскорей решится и сделает мне предложение. Подчас они так явно выражали свое нетерпение, что мне, право же, становилось за них неловко. Брат думал по-другому. Пьеру не нравилось, что его сестру кому-то навязывают, тем более «этому придурку, он же бездарь и на всю жизнь останется жалким адвокатишкой!». Но, высказав свою точку зрения в кругу семьи и видя, как я влюблена, Пьер стал придерживаться благожелательного нейтралитета.

Пора было садиться за стол, ждали только бабуся. Она влетела в гостиную, размахивая сумкой и зонтиком, даже шляпку с пером не сняла.

— Мне тридцать четыре! Мне тридцать четыре! — кричала она.

— Напрасно вы так развеселились, — сказал ей папочка. — Сегодня вечером знающие люди сказали мне, что закон, по всей вероятности, не пройдет. Коммунисты, естественно, против, раз инициатива исходит от правительства. Социалисты и республиканцы, очевидно, и обсуждать его не станут, поскольку он далек от их партийных интересов, так что вряд ли этот закон наберет большинство голосов.

Вообще, за ужином только и говорили что о законе, согласно которому в году будет двадцать четыре месяца. Бабуся просто захлебывалась от возбуждения, и они с папочкой то и дело цапались. Рассуждения Бертрана д'Алома относительно законопроекта и экономической ситуации в стране произвели на родителей сильное впечатление. Кажется, взгляды у него были самые передовые, и его очень заботили судьбы трудящихся. Папочка смотрел на него с неподдельным восторгом.

Я, по правде говоря, сути разговора не уловила. Голос Бертрана звучал для меня чудесной музыкой. Я дивилась его самообладанию и не понимала, как ему удастся так трезво мыслить, так логично и непринужденно рассуждать. Для меня, например, не существовало ничего, кроме нашей любви. Я смотрела на моего Бертрана с таким обожанием, что, наверное, выглядела глуповато, а когда его взгляд встречался с моим, чувствовала себя на седьмом небе. Крупный хрящеватый нос, рот сердечком, крошечный подбородок, зальсины на лбу, хотя ему только-только исполнилось двадцать семь, — я не могла на него наглядеться. И представляла себе его плечи, грудь, живот, мне почему-то казалось, что он весь покрыт густыми черными волосами, и одна лишь мысль о соприкосновении с этой мохнатостью пугала меня и наполняла блаженной дрожью.

После ужина Бертран попросил моей руки. Мама с бабусей прослезилась от умиления.

Пьер постарался быть любезным, но я видела, что он огорчился. А папочка поцеловал меня в лоб, произнес прочувствованную речь и, не преминув убедиться, что все на него смотрят, украдкой смахнул слезу.

А мне вдруг стало грустно — домашние так пылко делили со мной мое счастье, что от него почти ничего не осталось. Но грусть моя скоро прошла. Перед тем как Бертрану уйти, мы опять оказались наедине в папочкином кабинете. Бертран обнял меня за талию, тесно прижался ко мне и, целуя, раздвинул языком мои губы. От кузины Андре, которую держали не в такой строгости, я знала, как целуются, но что это такое потрясающее ощущение — не ждала.

Назавтра был самый счастливый день в моей жизни. Испытаю ли я еще когда-нибудь такой восторг души и всего существа, такое блаженное слияние с потоком жизни, что подхватил тебя и несет с бережной нежностью?

Утром Бертран прислал цветы. Около полудня позвонил. «Жозетта, дорогая... любимая... сокровище мое ненаглядное... моя невеста. Мне словно снится чудный, сказочный сон, я вас обожаю!» — говорил он мне. Я слушала, замирая от волнения, и повторяла в трубку: «И я, Бертран, и я...» Мне было так неловко, мои слова могла услышать прислуга, уж она наверняка подслушивала. Все же я пробормотала: «Бертран, любовь моя». Наконец он предложил зайти за мной вечером, часов в пять, и, если мама позволит, повести меня на прогулку в Булонский лес.

За обедом у нас царило необычайное оживление, одна я оставалась равнодушной. Даже родителей трясло как в лихорадке. Пьер посматривал на них с тревогой и любопытством. Бабуся — та попросту сбрендилась: заговаривалась, взвизгивала, размахивала руками. Посреди обеда она вдруг бросилась звонить подруге, у которой зять был в парламенте. В столовую доносились ее крики: «Алло! Алло! Нужно, обязательно нужно голосовать „за“! Другой такой возможности поднять дух нации не будет!» Когда она вернулась, глаза у нее были безумные. Согласно полученной информации, надежды на то, что закон примут, оставалось все меньше и меньше. Для бабуся новость была убийственной, я же пропустила ее мимо ушей, будто речь шла об очередной смене правительства. Как это я не почувствовала, хотя бы смутно, какая опасность подстерегала нас в тот день? Любящее сердце должно было ее предугадать. Правда, никто из нас не понимал тогда истинного значения предстоящих событий. Как ни ратовала бабуся за двойной год, никакой конкретной выгоды для себя она не ждала.

Ровно в пять Бертран зашел за мной. Я надела канареечный костюм с белой меховой опушкой, и мой утонченный вкус привел Бертрана в восторг. Мы прошли по улице Сен-Клу к Булонскому лесу, миновали озера и углубились в чащу. Погода стояла чудная, почти летняя, но листики были еще клейкими, нежно-зелеными. Бертран говорил со мной так изысканно, так деликатно, называл такими восхитительными ласковыми именами! Я трепетала от одного лишь звука его глуховатого, словно бы бархатного голоса. Мы удалились от озер, гуляющие попадались все реже, впервые я могла не таясь говорить о том дивном счастье, что переполняло меня со вчерашнего вечера. Когда я не находила нужного слова, он склонялся ко мне, и мы целовались. Мы шли уже не по тропинке, а прямо по траве, пока не остановились наконец в густой тени деревьев. Поцелуй наш длился долго-долго. Потом Бертран сказал, что любовь, по его мнению, прежде всего — слияние душ, ну и тел, конечно, тоже. Его рука скользнула мне под блузку, коснулась левой груди, потом правой, расстегнула пуговку... Он снова поцеловал меня. Если бы он захотел, я бы на все согласилась, но он ни о чем таком не попросил.

Вечером за ужином, вопреки моим опасениям, никто ничего не спрашивал о нашей с Бертраном прогулке. Папочки еще не было, он задержался в министерстве и позвонил, чтобы его не ждали ужинать. Мы снова говорили о двойном годе. Со второй половины дня в парламенте начались дебаты. Депутат от коммунистов выступил против законопроекта, который, по его мнению, при нынешней экономической ситуации в стране является

отвлекающим маневром и не приведет ни к каким результатам, разве что утешит нескольких престарелых кокеток. Бабуся метала в адрес коммунистов громы и молнии. Она то и дело бегала звонить, и к концу ужина от возбуждения ее просто трясло. Мама и Пьер не на шутку встревожились.

— Успокойся, бабуся, чего ты так разволновалась? — уговаривал ее Пьер. — Ну объявит правительство, что в году теперь двадцать четыре месяца, ну сможешь ты говорить, что тебе тридцать четыре, а дальше-то что? На самом деле все останется по-прежнему.

— Человеку всегда столько лет, на сколько он выглядит, — поддержала Пьера мама.

— Нет, — отрезала бабуся. — Человеку всегда столько лет, сколько есть.

После ужина я ушла к себе в комнату. Долго сидела на кровати и читала Поля Жеральди. Прекрасные стихи! Раздеваясь, я разглядывала себя в зеркале и, радуясь близкому счастью, улыбалась своему отражению.

На следующее утро сквозь сон я услышала в доме какой-то шум и суматоху. Едва я открыла глаза, ко мне в комнату вошли родители. Папочку я узнала сразу, хотя волосы и усы у него почернели, а костюм болтался на нем, как на вешалке. Со вчерашнего дня он не сильно помолодел и в общем-то почти не изменился. Зато мама — мама просто преобразилась, я бы ни за что не узнала ее. Молодая цветущая женщина двадцати двух лет со свежим, юным лицом протягивала ко мне руки. Следом за родителями, пританцовывая, влетела бабуся и воскликнула с заливистым хохотом:

— Взгляни-ка, дорогуша, твоей бабусечке тридцать четыре года!

Бабусечка-то и удивила меня больше всех. Высокая, стройная, с легкой походкой — я и не подозревала, что она так хороша собой. Честно говоря, эта красавица ни лицом, ни фигурой не напоминала ту молодящуюся старушку, чьи не по возрасту яркие наряды и подведенные глазки всегда производили несколько комический эффект. Я еще ничего не успела сообразить, как все трое, сгрудившись у моей постели, принялись целовать меня, оглушая своей трескотней.

«Деточка моя ненаглядная», — щебетала мама. «Внученька, крошечка», — вторила ей бабуся. И вдруг я увидела, какие маленькие руки у меня и какие большие у них. Тут до меня дошло. Я вскрикнула от ужаса и разрыдалась. А они засмеялись еще громче, стали тискать меня, целовать, тормошить, как будто я могла разделить их радость! «Не плачь, масенькая, — уговаривала мама, — а не то придет злой волчище!» — «Счастливица, — говорил папочка, — до чего же, наверное, здорово опять оказаться ребенком!»

Как они меня достали со своим дурацким весельем! Их глупость приводила меня в бешенство. Я вырвалась от них, мне хотелось, чтобы они ушли, оставили меня в покое, но что значат для взрослых слезы девятилетней девочки! Наконец пришел Пьер, он стал мальчиком лет двенадцати — его я узнала без труда, я видела его таким и раньше. Мрачный, рассерженный, он оттолкнул от кровати маму и сказал тонким голосом, но на удивление твердо и властно:

— Оставьте Жозетту в покое, вы уже довели ее. Ей сейчас не до смеха, мне тоже. Отстаньте от нас.

— Пьеро, — проговорила мама, — малышок мой милый...

— Что-о?! Никаких «малышков»! Идите-ка отсюда!

Взрослые удалились, снисходительно улыбаясь. Пьер сел ко мне на кровать, и мы поплакали.

— Как думаешь, Бертран д'Алом будет любить меня по-прежнему? — спросила я.

— Не знаю. Надеюсь. Сколько ему теперь, тринадцать?

— Ой, да, я об этом и не подумала. Ему тринадцать, а мне девять. Ведь правда, разница невелика?

Пьер взглянул на меня с такой тревожной нежностью, что я испугалась.

— В конце концов, почему бы и нет? Бывают случаи и похуже.

Он признался, что влюблен в женщину тридцати четырех лет, которой теперь, должно быть, семнадцать. Еще вчера они вместе ходили в кино и целовались в темноте.

— А теперь конец всему. Что ей двенадцатилетний мальчишка? И вообще все переменялось. Муж у нее старый ревматик с седой бородой. Теперь он молод и, наверное, красив, естественно, она будет любить его.

— И все-таки ты должен попробовать.

— Чтобы она надо мной посмеялась? Нет, я не желаю ее видеть. Вернее, не желаю, чтобы она увидела меня. Сама посудите: она взрослая, а я ребенок, нечто среднее между человеком и комнатной собачкой, существо, которое никто не принимает всерьез. На меня всегда можно цыкнуть, меня можно оскорбить, ударить, мне даже собственных мыслей иметь не положено, я ж — беспечное дитя, по выражению нашего милого папочки! Старый пень, старый осел! Ах успех, ах честь и слава знаменитого адвоката! Поверь, он не изменился, хоть и помолодел на тридцать лет. Думаешь, что его радует во всей этой катавасии? Может, молодость? Да он о ней и не вспомнил. «Мне двадцать девять лет, а я уже состою в коллегии адвокатов, я — крупный деятель, офицер Почетного легиона» — вот чему он радуется.

Для полного счастья ему не хватало одного — чтобы я снова стал ребенком. Я опять в его власти, и он это знает. Сейчас вот он целует меня, смотрит умильно, как людоед на будущий завтрак, и говорит: «Ну, мой милый мальчик, теперь ты снова в стране золотых грез и невинных забав». Мерзавец! Да как он смеет! Говорит, а у самого в глазах такое злорадство! Но он понял, что я его раскусил, смутился вроде, обиделся. Попомни мое слово — не пройдет и недели, как он придерется к чему-нибудь и ударит меня.

— Ты преувеличиваешь, нарочно растравляешь себя. Я уверена, папа тебя очень любит.

— Еще бы! Родители в нас просто души не чают и издеваются над нами, как последние садисты.

— Ты злишься, а потому несправедлив. Садисты! Скажешь тоже!

— Ах, по-твоему, я несправедлив! Короткая же у тебя память! А я вот помню долгие годы золотого детства, какое там годы — века ожидания, отчаяния, бесконечных запретов и придирок. Любящие родители! Как пристально они за нами следили, как изворачивались, юлили, лгали, и все равно то и дело провирались, и тогда завеса между нами и запретным миром приподнималась, но мы должны были делать вид, что ничего не видим, ничего не слышим, не понимаем ни книг, ни разговоров. А чего стоили званые вечера, когда мы сидели взаперти по своим комнатам! А Гнильон! Вспомни лужайку, всю в цветах. Помнишь? Даже когда родителей нет рядом, сидишь в этом мерзком детстве, как на привязи.

Я вспомнила Гнильон. Вспомнила, как тяжело быть маленькой. Вот я лежу на лужайке среди цветов и безутешно плачу. Вокруг все такое чудесное, а я будто тень без тела. И так мне стало горько. Но тут я вспомнила вчерашнюю прогулку с Бертраном, и горечь, навеянная прошлым, рассеялась — я улыбнулась. Брат посмотрел на меня с изумлением, а может, и состраданием.

— Снова переживать детство нелегко, — сказала я, — и все-таки теперь не то что прежде. Не смогут же родители забыть, что тебе было двадцать четыре, а мне — восемнадцать. И мама не сможет запретить мне видеться с моим женихом. Пусть даже она станет приглядывать за нами, я имею право хоть на какую-то свободу, и, поверь, не настолько уж я глупа, чтобы не воспользоваться ею. Я буду заниматься с Бертраном любовью и ни у кого не спрошу разрешения. Ведь ты не осудишь меня, Пьер?

Тут в дверь постучали. Вошла Маргарита, старуха, служившая еще бабушке и потом вынырившая нас с Пьером. Она помолодела лет на тридцать, но нисколько не похорошела. Нас

она очень любила, но все равно необходимость прожить еще одну жизнь в услужении удручала ее.

— Горбатишься, горбатишься, смерти ждешь, как избавления, а тут на тебе, пожалуйста, начинай все сызнава, да где ж такое видано? Да разве творилось бы такое, будь в стране порядок? Нет, вы мне скажите...

Она взяла меня на руки из постели, как бывало прежде, и то, что я стала такой маленькой и легкой, расстроило ее вконец.

— Лапушка ты моя бедненькая, какая же ты была красавица! Высоконькая, хорошенькая, а ножки какие, а грудка... а теперь... Батюшки! Жалкий ты мой цыпленочек! Смотрите, что делают законы с молодыми да красивыми девушками, а уж как я о ней заботилась! Девять лет — вот жуть-то! Ничего не знаешь, ничего о себе не понимаешь, живешь и любви не ведаешь. Кстати, а что твой женишок?

Маргарита как раз проносила меня мимо зеркала. Я взглянула на себя, оторопела и снова расплакалась. Не знаю почему, но мне казалось, что, несмотря на мой рост, я все-таки похожа на юную девушку, какой была вчера. Ничего подобного, я стала взаправду девятилетней девчонкой, не по возрасту маленькой и щуплой.

Прямо в ночной рубашке я кинулась звонить Бертрану, но его не оказалось дома. Мама уже ушла, даже не позаботившись о том, во что мне одеться. По счастью, Маргарита нашла у консьержки какую-то одежонку для Пьера, а потом разыскала и мое детское платьишко, пропахшее нафталином. В одной из комнат я, к своему удивлению, столкнулась с девочкой моих лет — сперва я ее не узнала. А потом сообразила, что это Анна, молоденькая горничная, которую мама наняла в прошлом году. Мы бросились друг другу в объятия и снова расплакались. В спешке перекроенное и сшитое крупными стежками платье сидело на ней кое-как. Она только что виделась со своим любимым — автомехаником, работавшим в гараже по соседству. Вчера ему было тридцать шесть, а сегодня утром стало восемнадцать. Когда он увидел перед собой такую малявку, то захохотал как ненормальный. Она попыталась его поцеловать, но парень уклонился от поцелуя, сказав, что он не растлитель малолеток, и хотел было дать ей двадцать франков на конфеты. Рассказ Анны меня встревожил. Но тут я вспомнила, сколько лет стало Бертрану, и немного успокоилась.

К обеду папочка привел семидесятилетнего старика, своего бывшего подзащитного. Бельгиец, он был в Париже проездом и, само собой, не имел французского подданства, так что действие нового закона на него не распространялось. Бедняга смертельно завидовал, а взрослые безжалостно радовались и неприлично веселились, поздравляя друг друга с возвращением молодости. Мало того, бабуся забавы ради откровенно кокетничала с гостем. Я заметила, да и Пьер тоже, что папочка не сводит с бабусяи глаз и то и дело впивается горящим взором в ее декольте. Естественно, за столом много говорилось о всяких казусах, происходящих вследствие утверждения двойного года. То же самое потом на все лады твердили газеты и надоели нам до смерти: бесчисленные матери семейств, которым нет и десяти; обремененные потомством мальчишки; сотни тысяч солдат и матросов, стремительно отступивших в детство; офицеры одиннадцати-двенадцати лет; взбодрившиеся восьмидесятилетние старцы; политики, чуть ли не из гроба восставшие; десятилетние проститутки и проч., и проч...

За обедом мы с Пьером, если так можно выразиться, и рта не раскрыли. Конечно, не в том мы были настроении, чтобы болтать, но была и еще одна причина: мы стали детьми и вспомнили, что это означает. Маленький, слабый, с тонким голосом, ребенок в присутствии взрослых чувствует себя неуверенным, неполноценным, а родители всеми силами поддерживают в нем это чувство. Мы вспомнили, что при гостях не принято говорить, пока тебя не спросят. Родители сочли нашу молчаливость в порядке вещей.

За столом папочка намекнул на одно из следствий нового закона. Ни брат, ни я о нем и не подумали и, услышав, замерли как громом пораженные. Мы поняли: в году теперь двадцать четыре месяца, и, стало быть, годы детства будут вдвое длиннее. За десертом папочка стал распекать бабуся: представьте, что за легкомыслие — бабуся надумала сниматься в кино!

После обеда мама отправилась в гости и меня повела с собой. Мысли мои были заняты Бертраном (я так и не смогла ему дозвониться), поэтому меня совершенно не интересовало, что же творится в городе. Но на Енисейских Полях я увидела такое, что не могла не содрогнуться. Народу было много — людям не хватало тротуаров, и они шли прямо по мостовой. В толпе взрослых, в большинстве своем не старше тридцати, которые шумно и грубо веселились — перекликались, покатываясь со смеху, заигрывали с кем попало, щипали друг друга, шлепали, отпускали сальные шуточки, среди всех этих радостных, возбужденных, крикливых мужчин и женщин, поодиночке и вереницами тянулись дети. Их голосов не было слышно. Затравленные, мрачные, они чувствовали себя во власти страшного наваждения, и я хорошо их понимала. Бурная радость взрослых подавляла детей, они робко озирались по сторонам, словно для того, чтобы еще раз с ужасом убедиться, до чего груба человеческая натура.

Одетые кто во что горазд, дети выглядели невзрачными маленькими нищими, но мама не обращала на них никакого внимания. Плечи ее распрямились, кровь прилила к щекам, глаза сверкали, она смеялась островам проходивших мимо самцов, и я чувствовала, как ее рука дрожит в моей от нетерпения.

Мы навестили двух маминых подруг, и каждый раз начинался невообразимый базар — приветствия, хохот, комплименты. Мадам Брюне показала маме, какая у нее теперь грудь, какие бедра, мама тоже выставила грудь и повертела попой. У мадам Лезье я разговорилась с двумя ее дочками — одной из них стало восемь, другой — десять. Казалось бы, старшей — замужней даме с ребенком — можно позавидовать. Живет себе дома с четырнадцатилетним мужем. Однако родители запретили зятю спать с женой под тем предлогом, что ей всего десять лет и что это просто возмутительно. Младшая, тайком от папы с мамой, любила одного лицеиста. Он тоже любил ее. Утром они успели повидаться и, хотя оба стали детьми, влюблены были друг в друга по-прежнему. Когда с признаниями было покончено, мы принялись рассматривать свои груди и животы. Все мы оказались плоскими, как мальчишки, и только у старшей из двух сестер внизу живота пробивалось что-то вроде пуха. Глядя на этот пух, я загрустила.

Домой мы пришли часов в семь, почти одновременно с папочкой. Он сказал маме, что видел во Дворце правосудия Бертрана и пригласил его завтра к нам на обед. Мне он не сказал ни слова, даже не взглянул на меня, но я все-таки спросила, как теперь выглядит Бертран.

— Мальчишка, — буркнул папочка. — Чего еще тебе от меня надо?

От унижения и тоски я чуть не плакала. Папочка вернулся злой как черт, дело в том, что новая расстановка сил затруднила его продвижение по службе. Многие адвокаты, чья известность, напористость и красноречие не уступали папиным, вчера еще, казалось, должны были переселиться в мир иной, но сегодня они появились в министерстве как ни в чем не бывало, и это оскорбляло папочкино самолюбие. Пьер пришел поздно и тоже в прескверном настроении.

— Где ты был? — спросил папочка с оскорбительной резкостью.

— Гулял. А что, нельзя?

— Не смей говорить со мной таким тоном, паршивец! Еще раз спрашиваю, где ты шлялся?

— Гулял. Может, тебе еще сказать, по каким улицам ходил и где писал?

Папочка вышел из себя. Он принялся трясти моего брата и наконец вlepил ему пощечину.

— Щенок! Забыл, как надо со старшими разговаривать?! Так я тебе напoмню!

Брат побледнел, но лицо у него оставалось спокойным, взгляд — холодным и



невозмутимым. У меня от страха подкосились ноги, и я села.

— Я с утра жду, когда ты меня ударишь, — сказал Пьер. — Понимаю, у тебя весь день чесались руки, ты и дальше будешь их распускать, но знай, завтра же я обращаюсь к адвокату.

— Адвокату? Какому адвокату?

— Само собой, не к твоему приятелю.

У папочки среди коллег было множество заклятых врагов. Услышав такое, он остолбенел и, должно быть, перепугался не на шутку. Вот тут как раз позвонила бабуся. Трубку взял папочка.

— Я поговорю с Бальбеном, — шепнул мне Пьер, — он его в порошок сотрет.

Из соседней комнаты доносились возмущенные папочкины возгласы. Он спорил по телефону с бабусей:

— Ладно, ужинайте где хотите, но ночевать хотя бы вы вернетесь? Что? Да вы с ума сошли! Вы же в первый раз его видите! Молоды... и что, что молоды? Вы по-прежнему бабушка и мать! Боже мой, да вы ж не кто-нибудь, а вдова члена Государственного совета! То есть как это вам наплевать? А вдруг он вас сейчас слышит?

Мама прибежала из кухни на телефонный звонок и взяла вторую трубку. Она изо всех сил пыталась изобразить негодование, но не смогла удержаться от улыбки. Юное лицо ее дышало такой беспечной веселостью, что папочка сейчас же выместил на ней свою злобу:

— Ты что, не поняла, насколько это серьезно?! Как это пусть ночует, где ей хочется!.. А дети! Что могут подумать дети! Погоди, вот принесет их бабуся в подоле, тогда порадуешься!

Не успели мы сесть за стол, как вдруг нагрязнул наш богатый-пребогатый дядюшка из Гнильона. Красивый мужчина тридцати девяти лет, он и думать забыл о том, что три последние года пролежал, разбитый параличом. Папочка ожидал наследства со сдержанным нетерпением. И хотя понимал умом, что закон о двойном годе, пожалуй, преобразит и дядюшку, до себя этой мысли не допускал и теперь был неприятно поражен. Когда богатый-пребогатый дядюшка осведомился, как поживает его сестра, бабуся, папочка ответил со злорадной улыбкой:

— Времени даром не теряет. Только что позвонила и сказала, — тут он понизил голос и оглянулся на нас с Пьером, желая убедиться, что мы ничего не слышим, — что дома ночевать не будет. Неплохо для начала, а?

— Узнаю милую Элизу и рад за нее, — сказал богатый-пребогатый дядюшка. — Берет от жизни все, что можно, и правильно делает. Видит Бог, я счастлив, что ко мне вернулись молодость, сила, но ведь самое главное то, что новый закон облегчил жизнь стольких немолодых женщин. Как они настрадались, бедняжки! Мы об этом говорили сегодня утром с баронессой де Мевр, моей соседкой, ровесницей сестры. «Вы не представляете, какие это муки, — призналась она. — Почему-то считается, что в старости у женщины нет никаких желаний. Наоборот...»

Тут родители принялись легонько толкать дядюшку под столом, напоминая, что при детях об этом не говорят, и он замолчал. Покончив с ужином, мы с братом встали из-за стола, не дожидаясь, пока нас отошлют. Наутро брат рассказал, что перед сном к нему заходила мама и просила не обращаться к адвокату. Пьер сдался, но не сразу.

На следующий день Бертран д'Алом пришел к нам за полчаса до обеда. Я могла бы сто раз повстречать его на улице и не узнать: тщедушный мальчик, ростом пониже брата, с виду лет одиннадцати, не больше. Бледное узкое личико, по-прежнему крупный нос, круги под глазами и ускользящий взгляд. Он был в длинных брюках, при галстукке с жемчужной булавкой; поцеловал маме руку и странным, слабеньким и в то же время писклявым, как у девчонки, голоском выразил восхищение ее молодостью и изяществом. Он явно пытался держаться как взрослый мужчина, и я его не осуждаю. Мне и самой хотелось выглядеть ну хоть чуточку женственней.

Нас оставили наедине в папочкином кабинете, я бросилась Бертрану на шею, поцеловала в губы. Он позволил мне себя поцеловать, но сам остался совершенно безучастным и от дальнейших нежностей уклонился самым решительным образом.

— Бертран, — прошептала я, — ты любишь меня по-прежнему?

— Я не забыл, в каких мы были отношениях.

Я замерла в растерянности, не зная, как понять его ответ. Он продолжил:

— Вчера вечером в Министерстве юстиции я говорил с твоим отцом, и он освободил меня от всяких обязательств. По его мнению, ты еще мала для замужества, тебе в твоём возрасте больше подошли бы другие занятия. На обед он пригласил меня только для того, чтобы формально расторгнуть нашу помолвку, — во всяком случае, я так понял.

— Бертран, но сам-то ты не собираешься расторгать нашу помолвку?

— Такова воля твоего отца, и я должен подчиниться.

— А какова твоя воля, Бертран? Мы любим друг друга, при чем тут родители?

— Подожди, послушай меня. Вероятно, нас оставили одних совсем ненадолго. Я должен хотя бы вкратце обрисовать тебе мое нынешнее положение. Это очень важно, ведь речь идет о моем будущем.

Меня одолевали страх и нетерпение, но я сдержалась. Вполголоса Бертран объяснил, чего он от меня хочет. Теперь, когда он так молод и может в любую минуту остаться без места, он особенно нуждается в поддержке папочки, а тот смотрит на него с подозрением, опасается: вдруг Бертран, пользуясь тем, что мы-де помолвлены, станет ходить ко мне и научит чему-нибудь дурному. Стало быть, я должна успокоить папочку, убедив, что между мной и Бертраном ничего нет и быть не может, поскольку одна только мысль о такой любви внушает мне, как и всякой маленькой девочке, инстинктивное отвращение. Пока он говорил, его голос ни разу не дрогнул от волнения или нежности, в нем не звучало ничего, что хотя бы отдаленно напоминало чувство, но я не желала примириться с очевидностью.

— Бертран, твоя любовь не изменилась? Я... я люблю тебя, Бертран. Вчера я звонила тебе трижды, но тебя не было дома, и я мучилась целый день. Нет, не может быть, чтобы ты меня не любил. Я этого не вынесу.

Я говорила, а он со скучающим видом смотрел куда-то в сторону. У меня защипало в носу, к горлу подступил комок.

— Почему ты не можешь любить меня, Бертран? Да, мне девять, но и тебе всего тринадцать.

— Это огромная разница.

— Почему? Ты ненамного выше меня, а на вид тебе и одиннадцати не дашь!

Я прикусила язык, поняв, что сморозила жуткую глупость. Бертран изменился в лице, в глазах блеснул недобрый огонек.

— Много ты понимаешь! Как будто ты когда-нибудь в этом смыслила! Между нами говоря, ты и в восемнадцать лет была дура дурой... Похоже, тебе кажется, что главное в мужчине — рост, а на самом деле существуют некие физиологические особенности, с которыми ты познакомишься позже, во всяком случае, я тебе этого искренне желаю. Надеюсь, теперь тебе ясно, почему мне по-прежнему двадцать семь?

— Мне так странно слышать это от тебя, Бертран. Муж Одетты Лезье, например, хоть ему и пятнадцать и выглядит он взрослее, любит свою жену, как и раньше.

— Может быть. Но я люблю женщин. Настоящих женщин.

Тут уж и я рассердилась и принялась хохотать, будто услышала что-то ужасно забавное.

— Прости, пожалуйста. Я просто представила, как женщина держит тебя под руку, вернее, за руку, а ты задрал голову и строишь ей глазки. Ой, не могу! Цирк да и только!

Бертран ничего не ответил, только лицо его перекошилось от бессильной злобы, и я тотчас пожалела о своих словах. Я поняла, что предала товарищей по несчастью, но, когда подошла попросить прощения, он не выдержал и изо всех сил стукнул меня. Я дала сдачи. Мы дрались молча, стараясь не шуметь, чтобы нас не услышала мама. Потом Бертран аккуратно расчесал растрепавшиеся в драке волосы на пробор, но мне расческу не дал: «У тебя голова слишком грязная».

— Бертран, ты нарочно хочешь меня обидеть, потому что сам обиделся.

— Я? Обиделся? Ничуть. Просто из деликатности не хотел говорить тебе правду. И, как вижу, напрасно. Терпеть не могу все эти околичности. Детям всегда лучше все сказать напрямик. — С улыбкой Бертран распечатал пачку сигарет, закурил и продолжил: — Жозетта, детка, ты считаешь, что я предал нашу любовь? Поверь, это не так. Я был влюблен в хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, мне нравились ее фигура, бедра, ноги, грудь. Теперь тебе девять лет, и ты меня не привлекаешь. Ничего не могу с собой поделаться. Сама посуди, что тут может быть привлекательного? Где у тебя грудь? Ведь нету же, нету?

Я дала себе слово, что не заплачу, но, когда он заговорил о моей груди, я почувствовала себя такой несчастной, что слезы покатались градом.

— Так, груди нет и в помине. А бедра? Где бедра? Ноги — палочки, сзади плоско. Так чего ты, спрашивается, от меня хочешь? Нельзя же требовать от человека, чтобы он любил то, чего нет.

Я закрыла лицо руками, чтобы он не видел, как мне больно. Бертран д'Алом умолк. Он упивался моим унижением. Я пробормотала срывающимся голосом:

— Бертран, позавчера вечером в лесу ты говорил, что любовь — это слияние душ...

— Слияние душ? Да неужели? Что-то не припомню...

Голос его пресекся. Он вдруг побледнел, тени под глазами стали чернее. Я не сразу поняла, что это у него от курения. Он справился с приступом дурноты, сделал несколько затяжек и постарался непринужденно улыбнуться.

— М-да, слияние душ... Что ж, зная твоё воспитание, твою наивность, я и должен был сказать что-нибудь в этом роде. К тому же я собирался на тебе жениться, а жене всегда лучше сказать, что любовь — это слияние душ.

Он еще больше побледнел и положил недокуренную сигарету в пепельницу.

Вошел Пьер. Взглянув на меня, он сразу понял, какое разочарование принесла мне встреча с женихом. Он обнял меня за плечи, затем повернулся к Берtrandу:

— Та-ак! Стало быть, господин граф предпочитает зрелых дам? Господин граф встал на сторону взрослых?

Но Бертран не слушал Пьера. В мутных глазах его отразился ужас, он вцепился в спинку стула, судорожно хватая ртом воздух, и тупо глядел на нас, не в силах выговорить ни слова. Его стало рвать прямо на ковер, он измазал пиджак и галстук. Пьер, удивленный и встревоженный, вопросительно взглянул на меня. Я кивнула в сторону пепельницы, где все еще дымилась сигарета. Пьер рассмеялся и, взяв Берtrandа за плечо, потащил из комнаты.

— Иди вымойся, засранец!

Бертран вышел, жалкий, испачканный, и я уже не чувствовала ни гнева, ни обиды. Только горечь. И еще страх от того, что теперь мне и помощи ждать неоткуда: Бертран д'Алом бросил меня одну-одинешеньку в тюрьме детства.

После нашей встречи прошла неделя. Я провела ее в каком-то оцепенении, это меня и спасло. Я почти ничего не ела, не выходила на улицу, сидела у себя в комнате, мне все было безразлично. В голове ни единой мысли. Я смутно чувствовала: мне очень плохо, и ясно сознавала, что боль будить нельзя. Взрослые были слишком заняты собой, чтобы заметить, как я

переменилась. Папочка думал только о врагах, которые мешают его продвижению по службе, и еще о том, что он называл «беспутство нашей бабушки». Мама завела любовника. Что это наш сосед по площадке, полковник двадцати пяти лет, я узнала случайно от Маргариты, которая негодовала вслух, думая, что поблизости никого нет. Я не возмутилась, мне было все равно.

Как-то вечером, после многодневного отсутствия, бабуся появилась в сопровождении сорокалетнего мужчины и представила его как своего жениха.

Оказалось, он некогда был журналистом и прожил всю жизнь безбедно благодаря продаже кое-какой информации за границу и шантажу. Даже капиталец скопил небольшой, но вполне достаточный, чтобы ни в чем не нуждаться на старости лет. Словом, сразу стало ясно, что перед нами человек достойный, так с какой же стати принимать его в штыки? И папочка изобразил приветливую улыбку, лишь скорбный взгляд да печальная нотка в голосе позволяли догадаться о том, как бешено он ревнует бабусю, как сокрушается, что бабусино наследство не видать ему как своих ушей. И хотя эта семейная драма не вывела меня из оцепенения, даже я заметила, как изводится папочка, видя бабусю такой веселой, а главное, внимательной и нежной к своему жениху. В тот вечер Пьер тоже ужинал с нами, что случалось редко. Обыкновенно он только обедал дома, а все остальное время проводил в клубе «Надежда», самом активном из многочисленных детских объединений в Париже, — дети собирались там, чтобы выработать свои требования и предъявить их правительству. Управляли объединениями выборные комитеты. Папочке не нравилось, что Пьер состоит членом одного из таких комитетов и, что еще хуже, не спросившись, пропадает неизвестно где допоздна. Но замечаний папочка не делал, зная, какими неприятностями грозит ему любая стычка с Пьером. А в тот вечер за ужином он и думать забыл о сыне, всецело занятый бабусей и ее женихом. А те знай себе ворковали, испытывая папочкино терпение. Когда подали сыр, Пьер вдруг встал из-за стола и заявил:

— Прошу прощения, долг зовет меня, я должен идти.

Папочка и так уже слишком долго сдерживался, наконец-то у него появился повод сорвать раздражение!

— Изволь сесть и сидеть. Тебе пока что двенадцать лет. Твой долг — рано ложиться спать.

— Ты, как всегда, прав, ты ведь мой отец. Но меня ждут, я должен уйти и уйду, — отвечал брат.

В его детском голосе неожиданно прозвучала такая твердость, что это всех позабавило, — бабуся расхохоталась, а жених ее весело осклабился. Папочка побагровел от гнева и заорал:

— Я запрещаю тебе уходить, сопляк! Немедленно сядь!

— До свидания, — коротко сказал Пьер.

Он отодвинул свой стул и не спеша направился к двери. Папочка вскочил, клопоча от ярости, глаза у него чуть не вылезли из орбит.

— Гаденьш! Ужо я тебе задам — враз забудешь, как взрослого из себя корчить!

Он бросился за Пьером и протянул было руку, собираясь схватить его за шиворот и злорадно ухмыляясь в предвкушении отменной порки, но внезапно остановился как вкопанный. Пьер, словно герой кинофильма, спокойно вытащил из кармана револьвер и направил дуло прямо на папочку:

— Еще один шаг, и я стреляю, А ну, живо на место! Без разговоров! Хватит, возмущаться будешь потом. Да заткнитесь вы! Милая мамочка... бабушка, лапушка... Довольно! Я теперь знаю: все вы друг друга стоите — и мать, и бабка, и рогоносец-папочка. Грубые лицемерные свиньи! Валяетесь в грязи и не желаете знать, что в лоне семьи, в домашнем святилище, где вы только и думаете что о всяких пакостях, другие страдают. Вам что, неизвестно, что у Жозетты горе? И даже не горе, а катастрофа, она может не выдержать, умереть, а вы заняты только собой, плевать вы на нас хотели. Хорошо же вы заботитесь о своих детях! Нам больно, нам худо, а вам

только того и надо — пусть будет еще хуже. Звери вы! Сволочи! Молчать! Или я уничтожу весь этот гадюшник... Жозетта, одевайся. Идем в клуб. Не обращай на них внимания!

Брат давно уговаривал меня пойти с ним вечером в клуб, но мне не хотелось выходить из дому. Я и сейчас предпочла бы остаться и сразу же после ужина забиться к себе в комнату, но мой отказ выглядел бы предательством, поэтому пришлось нехотя отправиться за пальто. Пьер вывел меня за руку из столовой в абсолютной тишине — никто и не пикнул.

На улице мы не сказали друг другу ни слова, вечер был теплый, почти летний, но я шла хмурая и чувствовала себя разбитой. Впереди и позади нас небольшими группками спешили дети, о чем-то возбужденно переговариваясь. Гомон детских голосов напомнил мне школьный двор во время переменки. Все мальчики выглядели престранно. Свои взрослые брюки они превратили в шорты, и слишком широкие штанины развевались на них как юбочки у шотландцев. Труднее оказалось приспособить пиджаки. Одни попросту отрезали рукава и сделали из пиджаков пелерины. Другие, словно бы издеваясь над своим возвращением в детство, дали волю фантазии и превратили их в шутовской наряд. Девочки были одеты более тщательно и с большим вкусом, но в общем все ребята походили скорее на нищих. Дети толпами стекались к воротам крытого рынка — именно здесь и располагался клуб. Комитет заседал на подмостках. Когда мы вошли, с трибуны слышался звонкий голос двенадцатилетнего оратора. Пьер оставил меня в толпе и стал пробираться к своим на возвышение. Я чувствовала себя здесь совсем чужой и устала еще больше, но мало-помалу лихорадочное возбуждение окружающих передалось и мне. Страхнув оцепенение, я стала волноваться вместе со всеми, и мой голос слился с голосом взбудораженной толпы. Я разговорила со своими соседями. Прямо за мной стоял мужчина одиннадцати лет с девятилетней женой и полугодовалой дочкой. Девочку они брали по очереди — слабые ручки с трудом удерживали тяжелого ребенка. Отец семейства был помощником бакалейщика в лавочке и в любую минуту мог лишиться места — работа стала ему не под силу. Все это сообщила мне его жена, когда я предложила поддержать малышку. Я видела — положение у них и впрямь отчаянное, и мне стало стыдно: я-то впала в депрессию всего лишь из-за оскорбленных чувств. Мои страдания показались мне смехотворными, и воспоминание о Бертроне д'Аломе, который, чтобы остаться на плаву, предал всех своих сверстников, вызвало у меня тягостное чувство.

Стоя на трибуне, ораторы разъясняли, что при нынешней ситуации положение всех молодых людей, вне зависимости от того, чем они занимаются, крайне ненадежно: рабочие потеряли трудоспособность, во всяком случае, она заметно снизилась, тогда как старики снова в расцвете сил и заявляют о своем праве на труд; молодых выгоняют, а стариков приглашают на их место. Военным десяти-одиннадцати лет грозит тотальная демобилизация и безработица. Комитет подготавливал тексты обращений к молодежи, писал прокламации и теперь заканчивал работу над списком требований, который намеревался предъявить правительству. Пьер во всем этом принимал самое живое участие. Он поднялся на трибуну и попросил слова:

— Минуточку внимания. Хорошо, допустим, мы представим правительству наши требования. Но мы теперь не избиратели, а парламент прислушивается только к мнению избирателей, то есть взрослых — наших врагов. Об этом следует задуматься уже сейчас, сегодня же, пока не поздно. У меня все.

Пьер сел на место в абсолютной тишине. До присутствующих еще не дошел смысл его слов, и они сосредоточенно их обдумывали. Через минуту все зашептались — каждому хотелось узнать мнение соседа. Помощник бакалейщика спросил у меня, что это может значить, и я в затруднении медлила с ответом, как вдруг полицейский лет этак тринадцати-четырнадцати в огромнейшем кепи — мой сосед справа — ответил вместо меня:

— Это значит, что нечего ждать помощи от правительства и надо полагаться только на

себя.

С этими словами он похлопал по кобуре своего револьвера. Я готова была расцеловать его. Между тем с трибуны один из членов комитета спросил, нет ли у кого каких предложений. Полицейский справа от меня пожал плечами. Неожиданно для себя я поднялась на цыпочки и крикнула что было сил:

— Да зачем все эти требования?! Нужно одно — отменить закон о двойном годе и вернуться к нормальной жизни!

Мое выступление встретили восторженными криками. Президент клуба объявил заседание закрытым, прибавив, что поступившее предложение будет со вниманием рассмотрено.

Пьер ждал меня на подмостках, и я пробиралась к нему сквозь поток направлявшихся к выходу. То и дело слышалось: «Посмотри, какой я была!», «Глянь, каким я был!» Дети показывали друг другу фотографии и горестно вздыхали.

Из клуба мы вышли в половине двенадцатого.

Под впечатлением от собрания, пьяная от радости, я болтала без умолку. Вдруг мне пришло в голову:

— А не пойти ли нам на набережную Вольтера, к Бертрану в гости?

— Вот еще, — сказал Пьер. — В такой час тащиться через весь город... Может, его и дома-то нет. Вдобавок тебе не о чем с ним говорить.

— Не о чем? А вот увидишь!

Я остановила такси. Шофер, старик лет тридцати, смерил нас подозрительным взглядом.

— А деньги у вас есть? Ну-ка покажите! — Он явно был в прескверном настроении и всю дорогу брюзжал не переставая: — Дети ночью одни на улице! Вот уж я бы вам показал! Корку хлеба на ужин и марш в постель! Да парочку оплеух в придачу для остратки.

— Ишь разошелся! — не выдержал наконец Пьер. — Не пройдет и недели, как ты снова станешь старым хреном. Правда, с мозгами у тебя и сейчас хреновато.

По словам Пьера, в последние два-три дня взрослые нас буквально возненавидели. Во-первых, им перед нами стыдно да к тому же страшно, что наши клубы чего-нибудь добьются. А может, они просто чувствовали, как мы их ненавидим за гадкие поступки и мерзкое к нам отношение, и отвечали тем же. Выходя из такси, Пьер заплатил, не преминув свериться со счетчиком:

— Что, думаешь, на чай дам? Держи карман шире.

Мы поднимались по лестнице, а вслед нам неслись проклятия: шофер яростно поносил всю эту «мелочь пузатую». Мне стало весело. Бертран был дома и еще не лег.

Я позвонила, и он спросил, прежде чем открыть:

— Кто там?

— Это я, Жозетта. Твоя невеста.

Недовольно ворча, он открыл мне дверь: присутствие брата сразу его насторожило. Мы вошли в маленькую гостиную.

Бубнило радио, диктор сообщал новости. Бертран даже не предложил нам сесть. Окинул нас холодным, скучающим взглядом, ожидая, что мы объясним причину нашего визита в столь неурочный час. Молчание длилось недолго.

— Что, проблевался? Полегчало тебе? — выпалила я.

Он оторопел, вся чопорность слетела с него в один миг. Узкое личико от растерянности вытянулось еще больше. По-прежнему тихо бормотало радио. Я радовалась, что так быстро сбила с него спесь, но мне этого показалось мало, и я с веселой яростью набросилась на него. Обозвала хамом, предателем, воображалой, ослом и еще такими словами, каких отродясь не говорила и теперь не решаюсь даже вспоминать. Тогда же я упивалась их грубостью и

бранилась самозабвенно, с наслаждением. Под мерный рокот радио непристойности шмякались перезрелыми грушами. А я сжимала в кармане пальто рукоять револьвера — я стащила его у брата в такси. На Бертрана обрушился поток оскорблений, а он только беспомощно моргал, и губы у него дрожали. Я достала револьвер и наставила дуло Бертрану в живот:

— Ты хвастал, что у тебя, видите ли, физиологические особенности. Вот мы сейчас и посмотрим, какие такие особенности. Ниже пояса господину графу по-прежнему двадцать семь лет, не так ли? А ну, раздевайся! Живо!

Он беспрекословно повиновался. Снял пиджак, брюки, галстук, потом рубашку. Что ж, «особенности» у него были вполне обычные, как у всех мальчишек. Но мы с Пьером изобразили необычайное веселье и хохотали, сгибаясь пополам и утирая слезы. Между приступами бурного смеха мы обменивались такими замечаниями, что лучше я не стану их здесь приводить. Тщедушное тельце — одни ребрышки, при виде его мы должны были бы испытать братские чувства жалости и сострадания, но Бертран нас предал, Бертран — враг. Мы страшно злились, что обречены на детство, и, измываясь над Бертраном, мстили не ему одному, мы мстили всему миру.

— Кругом! Чего у тебя там сзади?

Бертран послушно повернулся, но его острые плечи содрогнулись от рыданий, и мы возликовали. Я протянула Пьеру револьвер, сделав едва заметный знак. Он тут же все понял, подошел к приемнику и врубил его на полную мощность, пусть радио орет, заглушая крики. Потом схватил Бертрانا за щиколотки и повалил, а я поддала бедняжке под зад коленом. Он упал ничком, и мы стали его бить. Били, а он тоненько повизгивал, как щенок. В ответ мы хохотали. Внезапно Пьер остановился и поднял руку, призывая меня к тишине. Диктор говорил: «Только что нам стало известно, что префект полиции объявил о роспуске детских клубов ввиду их антисанитарии, а также запретил детям до шестнадцати лет собираться на улице группами больше семи человек».

Бертран воспользовался передышкой и натянул штаны. Он тоже услышал новость и теперь исподтишка, явно довольный, злорадно поглядывал на нас.

Пьер озабоченно нахмурился и, кажется, даже забыл о нашем с Бертраном существовании. Он обзвонил всех, кого мог, и, наконец, громко сказал:

— Жозетта, мне нужно повидаться с друзьями. Так что проводить я тебя не смогу. Тебе лучше подождать меня здесь. Часам к четырем я вернусь. Ключи пока возьму с собой.

Пьер отобрал у Бертрانا ключи и ушел. Дверь он запер на два поворота. Я выглянула в окно, чтобы посмотреть, как он будет выходить из дома. С минуту наблюдала: вот он идет по набережной Вольтера, вот поднимается на мост Руаяль... Внезапно на меня навалилась страшная усталость — еще бы, столько событий за один вечер, тем более что до этого я все время сидела дома. Мы с Бертраном не сказали друг другу ни слова. Не спросив разрешения, я улеглась на диванчике в гостиной. Он удалился в спальню, предварительно выключив свет. Несмотря на усталость, я никак не могла уснуть. В воспаленном мозгу проносились картины прошедшего вечера: я слышала шум толпы в клубе, голоса ораторов, свои собственные слова, и все это мешалось, точно в бреду. Так прошел час, я все еще надеялась заснуть, но вдруг чуть слышно скрипнула дверь, и я насторожилась. Думая, что я сплю, Бертран тихонько вошел в гостиную с карманным фонариком и стал подбираться к телефону. Луч света освещал его руку, вращающую диск. Нетрудно было догадаться, что он звонил моим родителям. Хотел сообщить, что я у него и он тут абсолютно ни при чем, надеялся, что папочка немедленно примчится да еще встретит Пьера и всыплет ему по первое число.

Невидимая в темноте, я, благо была теперь маленькой и легкой, сумела встать с дивана так, что ни одна пружина не скрипнула. На том конце провода послышался гудок. Бертран сказал:

«Алло! Это...» Номер он произнести не успел — я как раз подкралась к нему сзади и схватила за горло. Потом попыталась отнять у него аппарат. Бертран сопротивлялся, мы боролись и, ничего не видя в потемках, ударили телефон об угол камина. Бертран включил свет: на ковре — обломки эбонита и расколотый аппарат. От этого зрелища у Бертрانا вытянулось лицо, он стоял грустный, подавленный, и мне стало стыдно и больно. Во мне вдруг пробудилась любовь, да-да, любовь! Сердце мое сжалось. Я вспомнила его жалкие, крошечные физиологические особенности. Что ж, ему не смешно, да и мне не весело. Я бросилась ему на шею лепеча: «Бертран, миленький, я такая дрянь...» Но он с отвращением оттолкнул меня, загоготал, обозвал «вонючей пигалицей» и отправился к себе в комнату спать. Я же, плача от усталости, обиды и любви, горя о безвозвратно ушедшем прошлом, вернулась на диван.

Открываю глаза. Солнце уже высоко, лучи его золотят Сену, мосты, Тюильри. Спала я крепко, без сновидений, даже ни разу не встала пописать. На часах половина десятого. Огляделась — нет ли Пьера, вижу только Бертрана, сидит в комнате за столом и что-то пишет. Уже половина десятого, а Пьер еще не пришел, и мы по-прежнему взаперти. Я обошла всю квартиру: обе комнаты, прихожую, туалет. На кухне сжевала кусок черствого хлеба с тремя кружочками колбасы, вместо умывания обтерла лицо краем посудного полотенца, причесалась пятерней и вернулась в гостиную. Снова слышится гул голосов, как на школьной перемене, только доносится он издалека и едва различим. Я высунулась из окна и внезапно поняла: «Так вот в чем дело!» Меня окрыляет надежда. На том берегу вся набережная перед Лувром и Тюильри, вся площадь Согласия запружены детьми, бесчисленные толпы их стекаются сюда по улице Руаяль и Елисейским Полям.

Мосты оцеплены: взрослые полицейские, построенные в несколько шеренг, стоят плечом к плечу. Пьер наверняка среди манифестантов. Я свесилась из окна, желая увидеть, что же творится у нас, на левом берегу. На набережной Вольтера и дальше, на сколько хватает глаз, нет ни одного ребенка, зато в полной боевой готовности ожидает команды национальная гвардия — вооруженные до зубов вояки. Битый час я проторчала у окна — никаких изменений. Изредка толпа детей вдруг приходит в движение, кто-то пытается напасть на полицейских, но дело ограничивается короткой стычкой. Волнуюсь до ужаса. И страшно, и нет сил ждать. То думаю: пусть поскорей начнется, то: пусть бы и вовсе не начиналось. Я зареклась говорить с Бертраном, он для меня — пустое место, но сейчас не до того. Нужно хоть с кем-то словом перемолвиться. Бертран все сидит за столом, но уже не пишет. Читает Расина и делает вид, что ему жутко интересно.

— Что скажешь, эй?

— О чем? — Уткнулся в книгу и не взглянет.

— О том, что делается на улице.

— Меня это не касается.

Презрительно хмыкнув, отхожу к окну, но мне нейдет. То и дело подбегаю к Бертрану, пытаюсь втянуть его в разговор, — в ответ одно невразумительное мычание. Я взрываюсь:

— Ах, тебя не касается, что тут под окном будет бой, будет литься кровь, кого-то ранят, может, даже убьют? Тебе плевать, что люди пожертвуют жизнью ради... ради тебя, в конце концов!

— Я читаю «Беренику». Я у себя дома, поэтому изволь оставить меня в покое.

Я отвернулась, посмотрела в окно, потом опять на него:

— А знаешь, Бертран?..

— Что еще?

— У тебя не голова, а кочан капусты.

С этими словами я вышла из комнаты. Уже полдень, и я проголодалась. Поев сардинок и



джема, встала и стою у окна в спальне. Теперь Бертран удалился на кухню подкрепиться. За окном та же толпа, она бурлит на набережной и справа на площади Согласия. После полудня раздались первые выстрелы. Гляжу во все глаза, настороженно прислушиваюсь. Стреляют далеко, на Сите или даже за Сите, но все чаще и чаще. К окну подходит Бертран с набитым ртом. Из окон нижних этажей высовываются люди, перекликаются, переговариваются. С балкона свесился мужчина лет тридцати и сообщил соседям: мол, только что по телефону он узнал... Я улавливаю одно — манифестанты окружили префектуру полиции. Хочу узнать подробности, перегибаюсь через подоконник, но в ответ слышу:

— Да тебе-то какое дело, соплячка? Как ты смеешь вмешиваться!

Я огрызнулась грубо, как только смогла. Клятвенно заверила, что завтра ему непременно стукнет семьдесят. Он вышел из себя, кричит, топает ногами, орет: «Будь я префектом полиции, перестрелял бы всю эту наглую мелюзгу! Из автоматов — и порядок!» Обзываю его старым идиотом, паршивой сволочью. Бертран д'Алом, оскорбленный в лучших чувствах, велит мне замолчать. «Простите великодушно, Бертран старейший и мудрейший!» Между тем на площади Согласия «наглая мелюзга» сомкнутыми рядами устремилась прямо на заградительный кордон с криками: «Долой двойной год!» Полиция, яростно орудуя дубинками, отбросила атакующих. Дети отступили, оставив на месте сражения раненых и, возможно, убитых. Но атаки возобновлялись вновь и вновь. Со стороны Сите палили вовсю. Наши старались прорваться на мост Руаяль, на мост Карусель. Я места себе не нахожу. Кричу соседу снизу: «Крышка вам! Вас ужокошат!»

В два часа пополудни на мосту Согласия кордон прорван. Схватка длилась не больше пяти минут, так что я почти ничего не разглядела. Видела только, как ребята облепили со всех сторон двух полицейских и столкнули их в воду, потом толпа детей мощным потоком хлынула на мост и вмиг заполнила его. Я кричу: «Ура!» Плюю тридцатилетнему старикашке на голову. По нашим открыли огонь. Толпа подалась назад, автоматы смолкли. Слышится страшный топот — подоспела кавалерия. Конная полиция набросилась на манифестантов, толпа разбежалась. Плохи наши дела. Конники развернулись веером, пронеслись галопом по площади и очистили ее в мгновение ока. Старикашка ополоумел от восторга. Завопил что есть мочи: «Так их, так! Перебейте всех! Грязный сброд, туда ему и дорога!» Я всхлипываю. Бертран хихикает, и мне слышится его мерзкий, скрипучий голосок: «С самого начала было ясно, что этим гаденышам крышка!»

Нет сил сказать, как я его ненавижу. Я будто мертвая.

И тут — о чудо! — все изменилось в один миг. На улице Руаяль появился отряд, одетый в хаки. Армия лилипутов, детей десяти-одиннадцати лет, в полном вооружении. Толпа сейчас же расступилась.

Отряд выстроился в шеренгу и расстрелял из автоматов конную полицию. Конница рдеет, бежит, конницы больше нет! Один отряд, с начала боя отрезанный от остальных формирований, пожелал сдаться. Наши его уничтожили. И правильно сделали. Взрослых жалеть нечего. Солдаты вошли на мост, где их встретили пулеметной очередью. Тогда они отступили на набережные и стали палить оттуда по правительственным войскам. Те отстреливаются. В подкрепление нашим подходят все новые отряды.

Пока все спокойно. То на одном, то на другом берегу раздается залп, тут падают несколько взрослых, там — несколько детей. К вечеру со стороны Сите заговорили пушки. Всех мучает один и тот же вопрос: сколько лет артиллеристам? Но канонада длилась недолго, минут десять. На площадь Согласия с улицы Риволи выехали танки. Войне конец. Правительство капитулировало. Завтра мне вновь будет восемнадцать. Мужчины станут ловить мой томный отсутствующий взор. На вид я буду такой неземной, но про себя буду все понимать и

веселиться. Буду чувствовать: им не дают покоя мои прелести, они пожирают глазами грудь, ноги, бедра, норовят заглянуть под юбку.

На набережной, на мостах ребята, мои собраты по несчастью, встречают радостными криками близкий час освобождения. Бертран стоит рядом со мной и сладко мне улыбается. Да как он смеет?!

— Ишь развеселился! Всем известно, что ты сотрудничал со взрослыми! И можешь не сомневаться, трибунал тебя по головке не погладит. — Я словно окатываю его ледяной водой.

Лицо у него помрачнело. Глазки забегали.

— Я не сотрудничал! — протестует он. — Мне, как и многим другим, вдруг стало тринадцать лет, я оказался в положении тягостном морально и крайне шатком материально. Разумеется, я был вынужден как-то примениться к обстоятельствам. Само собой, мне и в голову никогда бы не пришло силой возвращать порядок. Об этом мы не подумали.

— Не пытайся себя обелить. Ты встал на сторону взрослых, вступил с ними в сговор. Бесплезно оправдываться. Кто носил брюки? Кто говорил, что у него физиологические особенности? Кто собирался спать с женщинами?.. И не возражай, я слышала это своими собственными ушами. Тебя интересовали только взрослые женщины, а меня ты бросил только потому, что у меня не стало груди, я все отлично помню. Вполне достаточно, чтобы тобой занялся трибунал.

Бертран перепугался не на шутку. Он защищался изо всех сил, выкручивался как мог, мол, слова, что так оскорбили и ранили меня, были им сказаны против воли, они отнюдь не выражали его истинных чувств, просто он заботился о моем благе, быть может превратно понятом... Не дослушав, я встала и вышла в гостиную, захлопнув дверь прямо у него перед носом.

Стемнело. Солнце село где-то за Сенной, тени в комнате удлиннились. Пьера все нет и нет, и я волнуюсь. А вдруг его убили? Вдруг он мечется в бреду на больничной койке? Я легла на диван и принялась корить себя: как я могла не подумать об опасностях, которые подстерегали брата?.. И тут я почувствовала страшную боль в ногах, да такую, что пришлось сбросить туфли. Детское платьице затрещало на мне по всем швам. Мне опять восемнадцать.

Я вошла в спальню. Бертран посмотрел на меня с ужасом, он-то успел надеть мужскую рубашку и взрослые брюки. А я из моего детского пальтишка соорудила себе что-то вроде набедренной повязки, прикрыв живот и бедра. Все остальное выставлено напоказ.

— Смотри, Бертран, теперь я настоящая женщина. А ты ведь, кажется, любишь женщин? Смотри, какая у меня грудь, какой живот, бедра, видишь? Теперь я тебе нравлюсь?

Я подхожу почти вплотную к нему. Он боится, отворачивается, избегает смотреть мне в глаза. Я отвечаю ему с размаху пощечину. Он хватает меня за руку, обнимает, прижимает к себе, как тогда в папочкинском кабинете, он сам толком не знает, что со мной сделает. Я не отбиваюсь, не напрягаюсь, напротив, прижимаюсь к нему, засматриваю в глаза. Его душит страсть. Он выдыхает: «Жозетта, любовь моя, единственная...» Я улыбаюсь нежно и осторожно высвобождаюсь из объятий. Он глядит на меня потерянно, прерывисто сопит и не пытается удержать. Я влепляю ему вторую пощечину и спасаюсь бегством. По счастью, между нами оказывается стол, за которым он утром что-то писал. Он кидается за мной с воплем:

— Дрянь, я тебя уничтожу!

Его глаза горят злобой, но я угадываю в них и огонь желания. Не скрою, ему двадцать семь лет, и меня тоже влечет к нему. Я отчетливо произношу:

— Господин Бертран д'Алом, зачем усугублять свою вину? Завтра я заявлю о вашем сотрудничестве со взрослыми. Что, если я вдобавок скажу, что вы пытались меня изнасиловать, совратить малолетнюю?

Но он, похоже, не услышал. Мы бегали с ним вокруг стола, и на пол летели книги и безделушки. В конце концов ему в голову пришла удачная мысль — он решил зажать меня столом в угол. И случилось бы то, что должно было случиться. Мне даже не в чем было бы себя упрекнуть. У меня пылают щеки, поверьте, не от стыда и не от беготни. Я отступила к стене, наши глаза встретились, и я уже не помнила ни о какой вражде.

Бертран поймал мою руку, и я не отняла ее, но он вдруг сам отпустил меня, услышав скрип входной двери. Я побежала в прихожую, громко крича:

— Пьер! Пьер! Он пытался меня изнасиловать!

Из своего костюма Пьер сделал себе плавки. Бертран лепечет что-то о чистоте своих намерений, но Пьер, поцеловав меня, достает из-за пояса револьвер и спрашивает ласково:

— Ну что? Прикончить его?

— Нет, лучше пойдём отсюда.

Мы выходим на улицу и направляемся к Бурбонскому дворцу. По набережной прогуливаются юные мужчины и женщины. Одни одеты так же, как и мы, другие и вовсе гольшом. Попадают навстречу люди, одетые, как полагается, они глядят на нас с ненавистью, и я почему-то вспоминаю бабуся и ее жениха, ему, верно, теперь под восемьдесят. Пьер говорит без умолку, сообщает, какие у него планы на сегодня, но я слушаю его вполуха. Он предлагает пойти вместе с ним в Бурбонский дворец, у него там какие-то дела, и тут я заявляю, что устала и хочу домой.

Мы расстаемся на углу бульвара Сен-Жермен. Я возвращаюсь на набережную Вольтера, звоню.

За дверью слышатся шаги.

— Кто там?

Я подхожу вплотную к двери и смиренно отвечаю:

— Это я, Жозетта. Я одна. Открой, Бертран, пожалуйста!

*Перевод Е. Кожевниковой*

# Марш-бросок через Париж

Жертва, уже расчлененная, лежала в углу погреба под лоскутами мешковины, на которой проступали бурые пятна. Жамблье, начинающий сесть маленький человечек с острым профилем и лихорадочно горящими глазами, туго подвязавшись длинным, до щиколоток, передником, шаркал стоптанными башмаками по цементному полу. Время от времени он внезапно останавливался, кровь прилиwała к его щекам, а беспокойный взгляд устремлялся на дверь. Чтобы ожидание не было таким томительным, он взял из эмалированного таза половую тряпку и в третий раз принялся мыть еще влажный цемент, стараясь уничтожить последние следы крови, которые могли остаться от учиненной им резни. Заслышав шаги, Жамблье выпрямился и хотел было вытереть руки о передник, но его так затрясло, что он не смог этого сделать.

Дверь открылась, чтобы впустить Мартена, одного из двоих, которых ждал Жамблье. Вошедший человек, лет сорока пяти, в обеих руках нес чемоданы. Он был невысок и кряжист, в коричневом пальто, сильно поношенном и облегающем его так плотно, что сзади вырисовывались ягодицы и торчали мощные лопатки. На узком, как шнурок, галстук была приколата крупная серебряная подкова, а на большой круглой голове сидел диковинного вида черный котелок с загнутыми полями, лоснящийся от старости. Все вместе производило впечатление опрятности и аккуратности и делало Мартена похожим на полицейского инспектора из комиксов — вплоть до густых и вислых черных усов. Приветливо подмигнув, он поздоровался с Жамблье: «Добрый вечер, хозяин», на что тот не ответил. Вслед за Марте́ном вошел неизвестный — высокий детина лет тридцати, кучерявый блондин с маленькими кабаньими глазками, который тоже нес два чемодана. Незнакомец, одетый весьма небрежно, был без пальто, в помятом грязном костюме спортивного покроя и ржавого цвета свитере с высоким воротом.

— Летамбо сегодня занят, — объяснил Мартен в ответ на вопрошающий взгляд хозяина. — Вот я и попросил своего приятеля Гранжиля заменить его. Он парень честный. Можете смело на него положиться. И силенки он еще не порастратил, наш Гранжиль.

Хозяин недоверчиво разглядывал кучерявого, чьи маленькие хитрые глазки не сулили ничего хорошего.

— Ему не впервой это дело, — продолжал настаивать Мартен. — Мы с ним вместе уже работали.

— Раз вы его знаете, мне нечего сказать, — проворчал Жамблье. — Не будем терять времени. Вы и так опоздали.

Они направились в угол погреба, где под белесыми тряпками лежал какой-то бесформенный предмет. Хозяин сдернул саван, и в ярком свете электрических ламп они увидели свинью. Животное было разрублено на дюжину частей, сложенных настолько тщательно, что получилась туша, зияющая выпотрошенным брюхом. Хозяин отодвинулся, давая обоим компаньонам возможность удостовериться, что все куски на месте.

— Вот это дядя, — одобрил Мартен. — На сколько тянет?

— В нем двести пятнадцать фунтов. Чуть потяжелей позавчерашнего, фунтов на двадцать, не больше.

Разложить по четырем чемоданам, ничего и не почувствуешь.

— Это так кажется. Конечно, тащить-то не вам.

— Да ладно! Такие здоровые парни! Давайте сюда чемодан.

Мартен шагнул вперед, но чемодан открывать не спешил.

— Сегодня-то куда идти?

— На Монмартр, улица Коленкура. Мясник будет ждать вас в лавке после полуночи. Ну, за работу.

Мартен по-прежнему не торопился. Гранжиль, стоя чуть поодаль, бесстрастно смотрел на него и хозяина, однако на его бараньей физиономии все так же хитро щурились кабаньи глазки. Жамблье снова занервничал.

— Давайте поторопимся, ребятки, — сказал он, стараясь говорить ласково. — Ведь уже поздно. Чтобы успеть туда к полуночи, нужно браться за дело.

— Минутку, хозяин. Сначала договоримся. Сколько вы даете?

Хозяин, неприятно удивившись, вздернул брови:

— Послушайте, Мартен, уговор есть уговор. Здесь люди честные.

— По поводу честности я ни от кого не собираюсь выслушивать поучений, — заявил Мартен. — Но с другой стороны, я не намерен вам делать подарок. Видите ли, мы работали на вас с Летамбо. За доставку на улицу Тампль или там в Шаронну каждый получал по триста франков. И не задаром. Тащиться ночью по улицам с такой ношей, стаптывать башмаки, рискуя напороться на фараона, и за все про все три сотни — я считаю, плата не так уж высока.

Жамблье старался держаться спокойно и добродушно, его больше тревожило внимательное и несколько ироничное молчание человека с бараньей головой.

— Если по совести, — возразил он, — три сотни за раз — это неплохой заработок, что там ни говори.

— Ладно. Что было, то прошло. Допустим, та цена была нормальной. Допустим. Повторяю, что было, то прошло. И уговор есть уговор. Мое слово твердое.

— Тогда в чем же дело?

— А в том, что есть разница — нести на улицу Тампль и нести на Монмартр. Вы так не считаете?

— Ладно, — уступил хозяин, — каждый получит на пятьдесят франков больше, но давайте поторапливаться.

Он снова протянул руку за чемоданом. Однако Мартен поставил чемодан позади себя и решительно заявил:

— Я не чаевых у вас прошу. Мне нужна справедливая плата за труд и за риск. Доставить вашу свинью на улицу Коленкура стоит по шестьсот франков на каждого, а нет — прощайте.

— Все понятно. Вы хотите припереть меня к стенке.

Мартен сбил котелок на затылок, обнажив обширную розовую плешь. Голос его зазвенел в неподдельном возмущении:

— Волочь свинью с бульвара Опиталь на улицу Коленкура, красться через весь Париж в кромешной тьме, самое малое восемь километров, когда повсюду фараоны и фрицы, да еще и на Монмартр взбираться, чтобы положить в карман шестьсот франков, — и это вы называете припереть к стенке?

— Даю по четыреста.

— За такую цену наймите бродяг. Мы люди приличные.

— Если б я знал, — сказал хозяин кислым тоном, — то нанял бы велосипедистов, которых мне предлагали утром. Но я подумал, что и вам нужно дать заработать. И вот она, благодарность.

— Еще ничего не потеряно, — парировал Мартен. — Если хотите велосипедистов, я вам их тут же найду. Они будут здесь через полчаса.

Жамблье промолчал. Вот уже два месяца, как развозчики-велосипедисты были объектом неусыпного внимания полиции. Преимущество в быстроте сводилось на нет из-за огромного

риска. Действительно, они гораздо больше бросались в глаза, чем пешие разносчики, и соответственно чаще попадались. Искушенный в тонкостях ремесла, Жамблье прекрасно знал, что велосипедист может рассчитывать только на свою счастливую звезду, тогда как опытный пеший разносчик вроде Мартена, внимательный, способный предвидеть опасность и использовать все преимущества темноты, имеет куда больше шансов на успех.

— Четыреста пятьдесят? — предложил хозяин.

Мартен отрицательно помотал головой. Он был уверен в своей правоте и твердо решил не уступать ни сантиметра. Впрочем, и Жамблье знал, чем закончится торг, и, хотя пока он не сдавался, его упорство было всего лишь проявлением скупости. Опасение, как бы туша не осталась у него еще на сутки, превращалось в панику. Когда партия, казалось, уже была сыграна, человек с бараньей головой, до тех пор не проронивший ни слова, вдруг заговорил. Взгляд его из-под полуприкрытых век, в котором сквозила нахальная ирония, остановился на хозяине. Ухмыляясь, он спросил:

— Скажите, месье Жамблье, это дом номер сорок пять, верно?

От неожиданного вопроса мясник вздрогнул и побледнел. Во время спора с Мартеном он как-то упустил из виду его незнакомого напарника. С вниманием, обостренным страхом, он снова принялся его разглядывать, пытаясь понять истинные намерения Гранжиля, чьи прищуренные глазки буравили его спокойным дерзким взглядом. Внешний вид незнакомца, по крайней мере одежда, его несколько успокоил. Обтерханный, весь в пятнах спортивный костюм, свитер под горло не могли принадлежать полицейскому.

— Зачем вы об этом спрашиваете?

— Да ни за чем, раз я и так знаю. Господин Жамблье, улица Поливо, сорок пять.

Последнюю фразу он произнес тоном, в котором явно слышалась циничная угроза. Снедаемый тревогой, хозяин обернулся к Мартену с укоризненным и вопрошающим взглядом, словно требуя отчета по поводу странного поведения его компаньона. Мартен ощущал неловкость и чувство вины, потому что считал себя ответственным за поступки человека, которого привел к хозяину погреба. Вдобавок он солгал, заявив, будто они с Гранжилем уже работали вместе. На самом деле они познакомились не далее как сегодня в небольшом кафе на бульваре Бастилии.

Низкое небо, пронизывающий северный ветер, дувший вдоль канала к Сене, — казалось, будто день умирает от холода. Привалясь к стойке в теплом полумраке кафе, Мартен смотрел сквозь стекло на промозглые сумерки, где мелькали силуэты съездившихся под северным ветром людей. По ту сторону канала в слабом блекнущем свете мрачнели фасады бульвара Морлан. Сумерки, вместо того чтобы скрадывать очертания предметов, еще отчетливей выделяли их. Гранжиле, прислонившись к стойке рядом с Мартеном, с интересом наблюдал за этим кратким всплеском света в агонии сумерек. Остальные посетители, видимо исполнившись меланхолией угасавшего дня, хранили молчание — все, кроме старого моряка, усохшего от старости, который сидел в самом темном углу кафе. В чересчур свободной для него матросской блузе синего сукна, прямо держа спину и положив руки на стол, он разговаривал сам с собой надтреснутым, едва слышным голосом, и это дрожащее кроткое бормотание напоминало вечернюю молитву. На бледном тощем запястье виднелись следы полустершейся наколки.

— Вот так и наша жизнь, — произнес Мартен, указывая на темнеющий за окном пейзаж. — Как глянешь на нее, мерзавку, аж холодом пробирает до самых кишок.

Поскольку Гранжиля это замечание не касалось, он кивнул, продолжая глядеть в окно. Казалось, он высматривал в этом кусочке сумерек нечто более важное, нежели сходство с жизнью. Хозяин кафе включил свет и задернул окно синей светомаскировочной шторой. Двое

мужчин неторопливо повернулись к стойке, и их взгляды встретились. Они были незнакомы, но Мартену показалось, что долгое созерцание одного и того же пейзажа протянуло между ними ниточку взаимной симпатии, хотя сосед и не выказал к нему особого интереса. Моряк в углу, потревоженный электрическим светом, прервал монолог и, наморщив лоб, стал разглядывать свои руки, беспокойно суетившиеся на столе. Наконец он повернулся к стойке и нетерпеливо позвал: «Дочка!» После третьего оклика хозяйка достала из ящика кассы клочок бумаги, на котором были написаны три слова, и, запинаясь, прочитала по складам:

— Формоза... Тайвань... Фучжоу... Вы поняли? Формоза...

Старик сделал знак, что услышал, и снова принялся бормотать. Хозяйка объяснила одному из посетителей:

— Понимаете, он сам себе рассказывает про кампанию в Китае. Но случается, что названия выскакивают у него из головы, и тогда он теряется. Еще бы, такие трудные слова. Интересно, откуда только он их взял? Я повторяю их за вечер по десять раз, и то мне трудно их прочесть. Да и мужу тоже.

Гранжиль, похоже, заинтересовался моряком, вновь погружившимся в свои воспоминания.

— Старикам не так уж плохо живется, как это принято считать, — заметил Мартен. — Все время вспоминают о былой поре, а воспоминания — они как вино: чем выдержанней, тем лучше. А от недавних чаще всего одно расстройство. Верно?

Сосед ответил неразборчивым бурчанием. Его безразличие задело Мартена. Он внимательно оглядел грубоватый профиль незнакомца, его выдавший виды заляпанный костюм, свитер и решил, что имеет дело с неотесанным типом, скорее всего каким-нибудь чернорабочим, — во всяком случае, не из сливок общества. Правда, Мартен сознавал, что раздражение, возможно, делает его несправедливым. Испытывая от этого смутную неловкость, а еще поддаваясь моменту, побуждавшему его излить душу, он заговорил снова:

— Взгляните на этого старика: все, что сохранилось у него в памяти от его двадцати лет, — это война в Китае. Я-то воевал в Первую мировую и пока еще не настолько стар, чтобы вспоминать о ней с удовольствием.

Видя, что Гранжиль обратил на это замечание не больше внимания, чем на предыдущее, Мартен оставил попытки завязать с ним разговор и предался воспоминаниям о войне своей юности. Как обычно в таких случаях, постепенно все заслонила одна картина: молодой солдат колониальной пехоты, вооруженный длинным тесаком в ножнах на португее, штурмует высокую гряду островерхих скал у Дарданелл. Пока корабельные орудия обстреливали плато, на краю которого окопались турецкие стрелки, рядовой Мартен Эжен из всей панорамы битвы видел одни только ноги сержанта, одолевавшего подъем впереди него, а совсем рядом с ним — крохотные гейзеры из высохшей земли и скальных осколков, вздымавшиеся от турецких пуль. Внезапно ноги, в которые упирался его взгляд, словно взлетели в воздух. Выпрямившись на краю обрыва, сержант широко распахнул руки и после недолгих попыток удержаться рухнул в бездну. На его месте возникла высокая сумрачная фигура, в которую Мартен Эжен, рожденный в Париже, на улице Анвьерж, в 1894 году, вонзил свой тесак по самую рукоять.

Раз или два в год ему случалось рассказывать про удар тесаком приятелям или женщинам, не без умысла возвыситься в их глазах. Выставляя себя таким сорвиголовой, чему, впрочем, изрядно мешала его добродушная круглая физиономия, Мартен утверждал даже, что, убедившись, сколь надежна сталь в твердой руке, он теперь всегда носит при себе здоровенный нож с деревянной ручкой; при этом он, правда, избегал уточнять, что пользовался этим смертоносным оружием исключительно для заточки карандашей. На самом деле, вспоминая наедине с собой о своем приключении, он всегда испытывал легкую меланхолию, а то и сожаление о том, что обстоятельства не оставили ему выбора. Сегодня, однако, он переживал

смертоносную минуту с толикой самолюбования. Картины штурма, образы сержанта и турецкого солдата перемежались с женским лицом и свежим, еще саднящим воспоминанием о ссоре, пробуждая в нем жажду мщения. Помимо воли он искал взглядом мужской силуэт, чтобы легче было вспоминать о войне.

— Формоза... Тайвань... Фучжоу... — читала по складам хозяйка.

В кафе вошла женщина в широкой черной юбке и черной косынке. Подойдя к старому моряку, она взяла его за руку:

— Пойдемте, папа, пора ужинать. Время половина седьмого. Грелка уже в вашей постели.

После их ухода завсегдатаи кафе обменялись замечаниями по поводу жизни старого моряка и его китайской кампании. Двое мужчин принялись спорить, в обычае ли у китайцев поедать глаза своих усопших, другие же по возрасту моряка пытались определить, когда была эта кампания. В перепалке было произнесено имя адмирала Курбе, часто упоминавшееся в монологах старика, и Мартен, до тех пор хранивший молчание, воинственно заявил, ссылаясь на свой опыт участника битвы у Дарданелл, что все адмиралы — подонки. Агрессивность его тона удивила и озадачила посетителей. Люди усмотрели в этих словах намек на нынешнюю политическую ситуацию, в которой адмиралы еще играли заметную роль.

— Почему ты так говоришь? Кого ты имеешь в виду? — спросил чей-то голос.

— Адмиралов, вот кого. Сдается мне, здесь никого из них нет.

— Я понял! — сказал чей-то голос, и от другого конца стойки, сверкая глазами, на Мартена кинулся какой-то безумец, явно намереваясь потолковать с ним накоротке. Мартен не знал, что именно тот понял, и ему так и не довелось этого узнать. Один из посетителей попытался задержать безумца. Тот увернулся и, торопясь очутиться лицом к лицу с хулителем благородного адмиральского корпуса, не стал терять время на то, чтобы обогнуть Гранжиля. Врезавшись в него, он был остановлен его железной хваткой. Гранжиль сграбастал лицо невежи своей широкой пятерней и резко, но без злобы отшвырнул его от себя. Безумец отлетел на несколько шагов и, попав в объятия кучки миротворцев, принялся вопить:

— Я понял! Фараоны, они всегда ходят по двое! Я понял!

Мартен бурно запротестовал против такого обвинения, он предлагал посмотреть его документы, совал их всем под нос, божился, что даже побывал за решеткой за оскорбление блюстителей порядка. Посетители молча отводили глаза. В ответ на его заклинания раздавался лишь клекот сумасшедшего. Больше всего бесили Мартена хозяева кафе, которые улыбками и мимикой пытались урезонить его и выказывали ему, равно как и его защитнику, льстивую угодливость, берегаемую обычно для общения с полицейскими инспекторами. Зато Гранжиля, казалось, нисколько не трогало высказанное подозрение — его скорее это забавляло, и он смотрел на посетителей уверенным взглядом своих маленьких, насмешливо сверкающих кабаньих глазок. Его невозмутимость в конце концов успокоила Мартена.

— Знаешь, мне просто смешно, — сказал он. — Топаем отсюда, малыш. В родимую префектуру.

Мартен заплатил за оба аперитива — за свой и человека, которого уже считал своим другом, хотя до сих пор не вытянул из него ни единого слова. Гранжиль не стал возражать и вышел за ним следом.

Ночь была черной и ветреной. На протяжении всего пути до Бастилии, проделанного ими вместе, Мартен почти в одиночку нес бремя разговора. Бестолковый день, с самого начала не задался. Еще утром, за завтраком, у Мариетты был какой-то необычный вид. А в полдень...

Гранжиль изредка отзывался на его откровения неразборчивым гугненьем. В конце концов Мартен, решив, что тому неинтересно слушать его, сменил тему:

— Не у меня одного трудности. Наверняка у тебя тоже есть.



— Не-а.

— Везунчик. Это, должно быть, потому, что женщины тебя не особо интересуют.

— Должно быть.

— В наше время самое главное — это жратва. Когда оказываешься на мели и едва хватает на хлеб, уже не до женщин. Для того, кто не ест досыта, желудок, что ни говори, важнее любви. Лично я на жизнь зарабатываю, жаловаться грех, выкрутиться всегда удастся. Видно, поэтому я так близко к сердцу принимаю любовь. А ты чем занимаешься?

— Малюю, — поколебавшись, ответил Гранжиль.

— Сдается мне, в строительстве сейчас дела не ахти, малярам приходится туго. Но как-то перебиваешься?

— Более-менее.

— Слушай, если хочешь, могу тебе кое-что предложить. Прямо скажу, дело рискованное, но и денежки неплохие... Как раз нынче вечером...

Гранжиль поставил свои чемоданы посреди стола и теперь, засунув руки в карманы, с удовольствием смотрел на испуганного Жамблье. Сощуренные маленькие глазки на его бараньей физиономии лучились нахальным весельем, и казалось, будто насмешка исходит даже от его белокурых кудрей. Мартен, осознав, что проявил непростительное легкомыслие, медленно багровел от стыда.

— Слушай, ты, заткнись-ка, сделай милость, — сказал он Гранжилю. — Тут я говорю.

Баран перечить не стал, но по его флегматичному виду и хитро прищуренным глазкам не было видно, что он воспринял эти слова всерьез.

Мартен обернулся к хозяину и, яростно открывая чемодан, рявкнул:

— Пускай будет четыреста пятьдесят!

— Господин Жамблье, улица Поливо, сорок пять, с покои но проговорил Баран. — Лично мне — тысячу.

У Жамблье даже челюсть отвисла. Потрясенный Мартен на какое-то время растерялся. Поведение напарника не лезло ни в какие ворота. Когда тот заговорил в первый раз, Мартен счел это бесцеремонностью, неуклюжей попыткой запугать, которую предпринял этот нахал, надеясь таким образом повлиять на исход торга. Теперь же стало ясно, что это всего лишь наглое вымогательство, причем негодяй не стал утруждать себя околичностями или хотя бы видимостью предлога. Мартен с невероятным трудом взял себя в руки. Гранжиля надо поставить на место.

— Хозяин, не обращайтесь внимания на то, что он там мелет, — твердо сказал он. — Вы дадите мне два раза по четыреста пятьдесят, а с ним я рассчитаюсь сам.

Пребывая в нерешительности, хозяин вполголоса посоветовался с Мартемом. В конце концов, может быть, стоит заплатить шантажисту, а доставку отложить на завтра. Потеря тысячи франков и лишние сутки пребывания туши в его погребе теперь казались ему мелочью по сравнению с опасностью, какую сулило участие в операции Барана.

— Делайте, что я говорю, — отрезал Мартен. — Я отвечаю за все.

Он произнес это громко, с нотками бешенства в голосе. Баран, впрочем, держался спокойно, его вроде даже не интересовало, чем закончится дело. Он неторопливо обходил погреб, словно проводил ревизию, рассматривая стоявшие вдоль стен предметы и время от времени останавливаясь, чтобы их потрогать. То были главным образом съестные припасы: сушеные овощи, сахар, окорока, колбасы, макаронные изделия, не считая вин. Гранжиль открыл деревянный ларь и, высыпав оттуда пригоршню муки на ящик с бутылками, с грохотом опустил крышку. Завидев чуть поодаль большой бумажный мешок, он проткнул его пальцем. Из

проделанной дыры на пол с шорохом, всполошившим хозяина, хлынула струйка чечевицы. Жамблье кинулся было к мешку, но на полдороге ему пришлось остановиться.

— Господин Жамблье, улица Поливо, сорок пять, — произнес Гранжиль. — Теперь с вас уже две тысячи франков.

Мартен не верил своим ушам. Решительно, этот тип принадлежал к какой-то не виданной им до сих пор человеческой породе. Побагровевший Жамблье, стиснув челюсти, застыл посреди погребца. Чечевица продолжала сыпаться на цементный пол.

— Ладно, покончим с этим, — сказал хозяин.

Решив пожертвовать малым ради спасения главного, он вытащил туго набитый бумажник и протянул Барану две тысячефранковые купюры. Тот сгреб их и поймал на лету третью, которую Жамблье, нервничая, выронил из рук. Сунув ее в карман вместе с остальными двумя купюрами, Гранжиль продолжил ревизию погребца. Сообразив, что протестовать бессмысленно, Жамблье подавил возмущение и поспешил упрятать бумажник в надежное место. Тем временем Мартен подскочил к Гранжилю, остановившемуся у штабеля пачек сахара, и схватил его за руку:

— Отдай деньги! Отдай их сию минуту!

— Оставьте, я не хочу неприятностей, — сказал Жамблье.

— А вы займитесь мясом и не вмешивайтесь. Это касается только меня.

— Я здесь у себя дома, — парировал хозяин, повысив голос. — Не хватало еще драки у меня в погребе. Вы и так причинили мне уйму неприятностей, и я достаточно заплатил, чтобы по крайней мере обрести покой.

В его тоне наконец прозвучала решительность — то, чего ему до сих пор явно недоставало. Мартен, обидевшись, отпустил локоть Гранжиля и повернулся к коротышке:

— Валяйте, защищайте его.

— Я никого не собираюсь защищать. Повторяю, я хочу покоя.

Баран, прервав осмотр погребца, с насмешкой смотрел на спорщиков. Под этим взглядом Мартен почувствовал унижение оттого, что ему выговаривает человек, которому он пришел на выручку и который не осмелился даже слово сказать против грабителя.

— Мне наплевать на ваши три тысячи франков, меня не это волнует. Я не хочу, чтобы со мной так обращались.

— Я по вашей милости и так влип, — заявил Жамблье, — будет с вас и этого. Я хочу покоя. Остыньте.

— Ладно. Вы здесь хозяин? Тогда за дело.

Они направились к туше. Жамблье пробормотал:

— Я вот думаю, не лучше ли отложить это дело?

— Говорю вам, все будет в порядке.

Лицо у Мартена было суровое и решительное. Хозяин махнул рукой и со вздохом уступил. Они с Мартемом принялись раскладывать тушу по чемоданам. Прикидывая вес кусков и покачивая головой, они передавали их друг другу, стараясь равномерно распределить ношу. Разложив все мясо, они стали запихивать между кусками скомканные газеты. Баран, которого эта возня нисколько не заинтересовала, тем временем остановился перед полкой с провизией, под которой висели окорок и круг колбасы. Полоснув ножиком по бечевке, он спрятал колбасу во внутренний карман пиджака, после чего отхватил добрый ломоть от окорока и уселся на ларь перекусить. Занятый работой, Мартен не терял из виду своего странного напарника, который вел себя вызывающе и оскорбительно.

Когда туша была разложена, Гранжиль сам взялся за чемоданы. Это приятно удивило хозяина и вселило в него надежду на благополучный исход дела. Напоследок он сунул Барану в карман пачку сигарет и, увидев, что Мартен побагровел и вот-вот взорвется, сказал:

— Это вам обоим на дорогу.

— Сигареты ночью, — фыркнул Мартен, — лучший способ выдать себя.

Жамблье в сопровождении двоих носильщиков направился к двери. В руке он держал ключ от погреба. Вдруг Гранжиль остановился, поставил один из чемоданов на пол и заявил:

— Мне нужны еще две тысячи франков.

Жамблье почувствовал, что его гнусно предали.

Он всегда верил в добродетель, полагая, впрочем, что она должна проявляться уместно. Из своего опыта он знал, что люди достаточно склонны к добродетели, чтобы приносить ее даже в дурные поступки, и стараются подвести фундамент честности под творимые ими мерзости. В любой пакости, а особенно в своей, он ухитрялся обнаружить положительную сторону или хотя бы намерение, утешительное для будущего человеческой совести. Короче говоря, у Жамблье было прагматичное и вместе с тем оптимистическое понятие о добре и зле. Поэтому чудовищное коварство Гранжиля, работающее подобно бесконечному винту, его непостижимое вероломство представлялись ему явлением противоестественным, чем-то из области метафизики. Жамблье расвирепел.

— Ни за что, — пробурчал он. — Ни за что.

Мартен, у которого, несмотря на беспорядочный образ жизни, понятие о честности было куда более строгое, чем у Жамблье, и который безоговорочно верил в абсолютные ценности и императивы, тоже изумился коварству Барана. Вместе с тем ему хотелось, чтобы хозяин получил хороший урок, и потому вмешиваться он не стал.

— Ни за что, — уже настойчивее повторил Жамблье. — Только не это.

В ответ Баран принялся орать во все горло, и его зычный голос звенел металлом:

— Я хочу две тысячи франков, черт побери! Жамблье! Жамблье! Две тысячи франков! Жамблье!

— Я не хотел бы навязываться, — сказал Мартен, воспользовавшись короткой паузой, — но если вы нуждаетесь в чьей-нибудь помощи, чтобы запихнуть его любезности назад ему в глотку...

— Жамблье! — снова завопил Гранжиль.

Жамблье сделал ему знак замолчать и вытащил бумажник. Положив в карман очередные две купюры, Гранжиль подхватил чемодан и направился к выходу. На пороге он опять остановился и начал:

— Мне нужно еще...

Но больше он говорить не смог: его душил безумный смех, от которого он затрясся всем телом и согнулся над чемоданами.

Ночь была черной и угрюмой, небо покрывали высокие тучи, подгоняемые северным ветром. Мороз стоял не меньше четырех градусов, как утверждал Мартен, и небо наверняка должно было проясниться. От пронизывающего ветра, дувшего вдоль улицы Поливо, пальцы на ручках чемоданов сразу окоченели. Напарники шагали, втянув головы в плечи и подняв воротники, чтобы не так донимала стужа.

— Сойдем на мостовую, — предложил Мартен. — Так удобней. Тогда в переулках не наткнешься на ступеньки или кучу песка, а на улицах избежишь ненужных встреч. Но учти, держаться надо левой стороны, чтобы видеть машины и велосипеды. Иначе они могут поддаться под зад, и собирай тогда кости.

Его ярость против Барана не утихла, просто он отложил ее на потом. Прежде всего — доставить свинью на Монмартр. Голова должна быть ясной: предстояло шагать добрых два часа, лоя каждый шорох и по-кошачьи вглядываясь во тьму. Поквитаться можно будет и позже. А пока он приказал себе сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, чтобы успешно

выполнить дело, тем более что непредсказуемое поведение Гранжиля этому отнюдь не благоприятствовало. «Скоро мы поговорим как мужчина с женщиной, — думал Мартен, — но прежде ты у меня все ноги собьешь. Я буду не я, коли не удержу тебя в упряжке до конца».

Когда они вышли на бульвар Опиталь, на них набросился леденящий северный ветер, от которого перехватило дыхание. Мартену пришлось поставить один из чемоданов на мостовую, чтобы поплотней нахлобучить грозивший слететь котелок. Гранжиль изливал свое дурное настроение в брани, но ветер завывал так, что приходилось кричать, чтобы Мартен его услышал. В ночной тьме с редкими вкраплениями хилых голубоватых огоньков напарники остро ощущали пустоту оголившегося бульвара, который словно становился шире от заунывного воя ветра. Идти было настолько трудно, что им казалось, будто они ползут как черепахи.

Мартен удержался от искушения пересечь Сену по Аустерлицкому мосту, который скоро вывел бы их на улицы, где не так дуло. Близость Лионского и Аустерлицкого вокзалов делала этот переход рискованным. Полиция частенько устраивала там засаду, и по мосту то и дело сновали полицейские на велосипедах, не говоря уже о немецких патрулях и жандармах, которым в столь поздний час их ноша показалась бы весьма подозрительной. Они решили пройти по набережным до моста Святого Людовика, а это означало, что им придется не меньше километра коченеть на ветру, дующем с Сены. Повернувшись спиной к вокзалу, они побрели по набережной Святого Бернара вдоль Ботанического сада. Ветер гудел в кронах деревьев, ломая засохшие ветки. Всякий разговор был бы ненужной тратой сил. Мартен принялся размышлять о том, что случилось в погребе. Удивительно, но теперь поведение хозяина злило Мартена куда больше, нежели наглость Барана. И злость на хозяина заставляла его увидеть выходки Гранжиля совсем в ином свете. Да, несомненно, напарник унизил и опозорил его, Мартена. Но возможно, Баран стремился всего лишь восстановить справедливость и отобрать часть непомерной прибыли спекулянта черного рынка в пользу двух подручных, которые, в отличие от него, за гроши рисковали своей жизнью. Ограбление вора вполне можно считать справедливым поступком, и в глазах стороннего наблюдателя сцена в погребе не была лишена некоторого комизма, в ней даже в какой-то степени торжествовала мораль. Впрочем, все эти рассуждения могли быть справедливыми лишь с точки зрения Гранжиля. Сам Мартен не усматривал в подпольной торговле и считающихся баснословными доходах ничего аморального или постыдного. Воровство и нелегальная деятельность были в его глазах вещами совершенно разными. Единственное, что он находил между ними общего, — это то, что оба промысла преследовались по закону. Тем не менее Гранжиль мог придерживаться и иного мнения, считая, что он взыскал справедливый налог с толстосума, наживающегося на людской нужде. Но ведь каждый выкручивается как может, и Жамблье было бы глупо не воспользоваться предоставившимися возможностями и своим выгодным положением торговца. Однако обделенные судьбой не склонны расплачиваться горбом за чью-то хитрость и дерзость. Им не хватает сообразительности понять, что в этой несправедливости повинны в первую очередь они сами. А уж это Мартен знал. Он, человек честный, честней поискать, и то ничего бы так не желал, как разбогатеть на черном рынке. Но ему удалось стать лишь мелкой сошкой, скромным порученцем, подпольным доставщиком, который носится взад-вперед, чтобы по куску сбывать товар жадным и вечно недовольным буржуа. Что касается его самого, то несправедливость, как он считал, коренилась в его чрезмерном благоразумии, не позволявшем ему на что-либо осмелиться, и в холодности души, не дающей воспламениться желанием. И правда, он слишком осторожен. Гранжиль, не обладающий его, Мартена, умом, — парень толстокожий, бесцеремонный и не более разговорчивый, чем утюг, — тот совсем иного склада. Ему наплевать на благоразумие. Несправедливость, по его мнению, исходит не от жертвы, а от того, кто ее эксплуатирует. Возможно, он вообще о ней не думает, об этой самой несправедливости. И

наверное, правильно делает.

Когда они шли вдоль ограды Винного рынка, Мартен уловил вроде бы некоторое изменение в атмосфере. Ветер дул с реки уже не так сильно, но стал более холодным и колючим. Правую сторону лица жгло, а пальцы на ручках чемоданов совсем задубели.

Едва ступив на остров Святого Людовика, оба доставщика, не сговариваясь, свернули в боковую улочку, чтобы укрыться там от ветра. Гулявший по ней ледяной сквознячок после шквалистых порывов показался им летним бризом. Относительное затишье было непривычно для уха, даже как-то не по себе становилось. Сделав в кромешной тьме несколько шагов, напарники укрылись в воротах и опустили чемоданы на землю. Сразу стало уютно как дома.

— Почему ты занимаешься таким делом? — спросил Гранжиль.

— Каждый зарабатывает на жизнь, как умеет.

— Неблагодарное занятие. Таскаться с пудовыми чемоданами под ледяным ветром, чтобы сделать богаче какого-то спекулянтишку... Мог бы подыскать что-нибудь попрличнее. С твоими-то мозгами...

Гранжиль говорил ровным голосом. Его интонация почему-то напомнила Мартену сощуренные в насмешке кабаньи глазки.

— Хочешь предложить что-нибудь получше?

— Надо работать на себя самого. Сегодня продают и покупают все, что угодно.

— А где взять деньги? Может, одолжишь?

— Допустим, ты приберешь к рукам свинину Жамблье и еще нескольких мясников...

— Можешь не продолжать.

— Если будет мучить совесть, вернешь им долг потом, когда станешь миллионером.

— Можешь не продолжать, говорю.

Разговор принимал опасный оборот. Мартен почувствовал, что надо немедленно отправляться в путь. Во время передышки успеваешь осознать, сколько ты сделал и как сильно устал, и тогда появляются всякие мысли, а когда человек в упряжке, работа поглощает его целиком. Внезапно с языка его сорвался вопрос, который он обещал себе задать только после окончания дела:

— Скажи-ка, что это на тебя нашло тогда, в погребе?

— А что, неплохо я сработал, верно? Огреб пять штук без всяких хлопот.

— Ну знаешь, я так не думаю. Один на один с Жамблье ты волен творить что угодно. Но ведь там был я, так что ты меня подставил.

Баран не ответил. Опасаясь, как бы он не истолковал его слова превратно, Мартен уточнил:

— Только не подумай, что я требую свою долю. Напротив...

Он-то как раз надеялся, что Гранжиль предложит ему поделиться добычей. И не потому, что согласился бы. Ни в коем случае. Просто подобный жест подтвердил бы те почти уважительные мотивы, какими Баран, по предположению Мартена, руководствовался, вымогая деньги у Жамблье. Но Гранжиль и не подумал сделать этот жест, он не издал ни звука, который можно было счесть хоть намеком на предложение, — впрочем, теперь оно стало бы чистой формальностью. Все это было крайне унижительно для Мартена. Он испытывал такое чувство, будто его надули еще раз. Дорого бы он дал, чтобы увидеть сейчас физиономию Барана. Мартен представил себе его ироническую ухмылку, и одна только мысль о ней привела его в бешенство.

— Я говорю: напротив, — подчеркнул он тоном сдержанной угрозы. — В делах я признаю только честность. Пошли.

Переходя Сену по мосту Мари, Мартен встревожился. Ветер стал холоднее, но дул не так сильно. Тучи у них над головами, еще совсем недавно невидимые, стали серебристыми. В стороне Отель-де-Виль на узкой полоске неба, окаймленной серебром, появились первые

звезды. Через несколько минут из-за туч могла вынырнуть луна, что сразу усложнило бы их задачу. Тень в сиянии, идущем с вышины, выглядит чернее самой темной ночи и таит в себе большие неожиданности. Но особенно опасно идти через перекрестки. На этих залитых лунным светом пространствах самый рассеянный наблюдатель невольно остановит взгляд на крадущемся силуэте прохожего, высвеченном луной, как балерина ярким пучком света прожектора.

Они уже минут пять шагали по улочкам квартала Сен-Жерве, как вдруг Гранжиль, поставив чемоданы, предложил:

— Может, поговорим?

— Давай, — отозвался Мартен, освобождаясь от ноши, — но только покорооче. Мы подрядились не для того, чтобы останавливаться на каждом углу.

— Я хотел тебя спросить: почему нынче на черном рынке свинина?

— Не забивай себе голову.

— Цен я не знаю, — продолжал Гранжиль ровным голосом, в котором Мартену временами чудилась ухмылка. — Я по этой части не знаток, но, думаю, сотни по полторы за кило взять можно.

— Не забивай себе голову, говорю.

— В том кафе, где нас приняли за фараонов, мы бы запросто загнали эту свинью по полтораста франков за кило, разве нет? На двоих досталось бы самое малое пятнадцать кусков. Легко и просто. Кафе тут неподалеку. Вместо того чтобы тащиться Бог знает куда...

Искушение слегка коснулось Мартена, но уже на излете, как сожаление. Он был слишком зол на Барана, чтобы поддаваться соблазну.

— И так уже сколько времени потеряли, — настаивал Гранжиль. — Пойдем.

— Ты не потянешь, — осадил его Мартен. — В таком рванье да с твоей блудливой физиономией ты не потянешь, чтоб тебя хоть на минуту приняли за настоящего торговца. Таких задрипанных босяков вроде тебя видно по полету. А про свинью любой с ходу скажет: это или ворованное, или какая-нибудь тухлятина. — Он горделиво подумал о своем котелке и ладном пальто. — Я еще могу на что-то рассчитывать, но послушай меня внимательно. Захоти я повернуть такое дельце, то не кинулся бы за тобой, малыш. И если б я вдруг сейчас это надумал, то первым делом избавился бы от тебя.

— Но-но, я же тут, я в доле.

— Это ты так считаешь, — заметил Мартен. — Но если начнешь выламываться, я тебе быстро вправлю мозги.

— Может, ты решил, что я убогий какой?

— Перво-наперво я вас так отделаю, как вам и не снилось, молодой человек. Раз и навсегда пропадет охота корчить из себя невесть что.

На этом разговор пока прекратился. Баран, обойдясь на сей раз без обычной ухмылки, пошел следом за своим компаньоном. Мартен решил, что усмирил его. Тем не менее он держался настороже, сомневаясь, что такой дерзкий малый отступится от своего. Луна все еще скрывалась за облаками, но стало светлее. Из тьмы смутно проступили очертания улицы и прилегающих проулков, и путники начали различать друг друга. Они шагали в ногу гуськом. Вдруг Мартен уловил в ритме шагов сбой. Обернувшись, он увидел, как его напарник, пересекая улицу, направляется к двери кафе, окаймленной рамкой голубоватого света.

— Пойду пропущу глоток, — невозмутимым тоном произнес Баран.

Он уже открыл дверь и ступил с чемоданами внутрь. Если б Мартен и захотел возразить, то все равно бы не успел. Остановившись на миг, он прислушался к городской тишине и догнал Гранжиля уже на пороге. Из-за громоздких чемоданов они довольно долго топтались в дверях,

прежде чем им удалось раздвинуть черную портьеру, маскировавшую внутреннее освещение. Пока они освобождали себе проход, яркие отсветы плясали позади них на мостовой. Хозяин заведения был раздосадован столь неторопливым вторжением, медлительность которого граничила с издевательством. При виде чемоданов настроение у него окончательно испортилось.

— Я уже закрываю, — проворчал он. — Ничего не скажешь, удачное время вы выбрали появиться с таким багажом. — Он не сводил с чемоданов подозрительного взгляда. — Надеюсь, вы не притащили на хвосте полицию? Надо сказать, меня такие штуки...

— Поддай нам подогретого вина, — оборвал его Гранжилль.

— Всё вышло.

— Поддай нам подогретого вина.

Баран говорил не повышая голоса, но его требование прозвучало как приказ. Неприятно пораженный самоуверенностью угрюмого посетителя, который, чего доброго, мог быть вооружен, владелец кафе украдкой бросил взгляд на свою супругу, которая вязала носок, сидя между кассой и лоханью для ополаскивания посуды. Та подмигнула в ответ, и хозяин шмыгнул в низенькую дверь чулана. Мартен с трудом сдерживался, ему не нравилась бесцеремонность Гранжиля. Сидевшие за деревянным столом игроки в белом только что закончили партию и теперь разглядывали поздних посетителей, перешептываясь между собой. Все четверо были молоды: то ли мелкие чиновники, то ли продавцы. Игроков явно заинтересовали чемоданы — судя по недоброжелательному блеску их полуголодных глаз, они догадывались, что там находится. Мартену не терпелось убраться отсюда. Тесный, с низкими потолками зал, стены со вспученной штукатуркой, замызганный пол, жалкая обстановка — все это производило впечатление какой-то преувеличенной убогости и напоминало чересчур натуралистические театральные декорации. Притулившись у чугунной печурки, тщедушный желтоглазый человечек в рубашке с крахмальным воротничком и черном пиджаке что-то царапал на листке бумаги, прикрывая его согнутой рукой, и время от времени исподлобья окидывал всех подозрительным взглядом. Он походил не то на непременно нынче доносчика, не то на хитрого и безжалостного полицейского, который ждет своего часа. В памяти Мартена ожили воспоминания о бельвильском театре и мелодрамах поры его детства. Он вдруг подумал, что Баран принадлежит, пожалуй, к числу наиболее загадочных персонажей. Его странное лицо было одновременно открытым и непроницаемым. Ироническая ухмылка его кабаньих глазок, казалось, скрывала некую тайну. И у мертвецов на лице бывает этот отблеск иронии, пробивающийся сквозь сомкнутые веки, но лицо Гранжиля излучало еще и бесстыжую откровенность. Мартену было явно не по себе, и он безуспешно пытался объяснить или хотя бы сгладить это противоречие. Вспомнив о том, что произошло в погребке, он силился вообразить себе за бараньим лбом анархические бездны, клокочущие ненавистью и прочими страстями отщепенца, но сущность этого человека упорно ускользала от него. Мартен чувствовал в нем нечто особенное, не поддающееся его пониманию. Гранжилль тоже смотрел на него — без тени враждебности, отчасти даже с любопытством, которое, казалось, в равной степени относилось и к его одежде, к котелку, и к его лицу, — и этот живой, ни на чем не останавливающийся взгляд был весьма нескромен.

— Пейте побыстрей, — сказал хозяин, принеся подогретое вино. — Теперь уж точно закрываем. Почти одиннадцать.

Картежники тем временем поднялись из-за стола. Когда они неспешно проходили вдоль стойки, то внимательно оглядели парочку и чемоданы, по поводу которых вполголоса обменялись замечаниями, полными горькой иронии. Один из них, осмелев, носком ботинка легонько пнул чемодан и взялся было за ручку, чтобы прикинуть, сколько он весит.

— Прочь лапы! — сказал Гранжиль. — Эти цацки не для нищих.

Покраснев от унижения, парень отпустил ручку. Остальные остановились в нерешительности.

— Чего вы ждете? — спросил Гранжиль. — Ведь вы подыхаете с голоду. Поели колбасы из опилок, выпили воды из-под крана, покурили дрянной травы, а ведь того, что лежит в чемоданах, хватит, чтобы погулять недели три. Вас четверо здоровых парней. Чего вы ждете, почему не хватаете чемоданы и не смываетесь с ними? Знаете ведь, что заявлять о пропаже никто не пойдет.

Скорее смущенные, нежели разозленные, картежники молчали, поглядывая на дверь.

— Чешите отсюда, голытьба паршивая! — прервал молчание Гранжиль. — Валите на улицу и там гавкайте на проклятых спекулянтов.

Он разразился громким смехом, и Мартен с удивлением увидел у него во рту пять или шесть золотых коронок. Это открытие было для него особенно неприятным: по его разумению, золотые зубы вставляют скорее из щегольства, чем для удобства. Сам он, хотя у него и были на редкость здоровые зубы, уже давно мечтал вырвать несколько и заменить их золотыми. Ему нравилось представлять себе, как богато и вместе с тем элегантно будет выглядеть его золотая челюсть в сочетании с черным котелком. Чаще всего по таким вот деталям человека относят к тому или иному рангу, а кроме того, женщины любят ощущать в поцелуе привкус достатка. Увидев свою мечту сверкающей в пасти Барана, он испытал чувство меланхолии. Так страдает разорившийся аристократ при виде своих бывших фамильных драгоценностей, выставленных напоказ на груди и на пальцах какой-то презренной лавочницы.

Картежники убралась восвояси, с порога осыпав их градом ругательств. Писака, сидевший у печурки, тоже сгинул. Стоя за прилавком, хозяин кафе бросал на пришельцев с чемоданами нетерпеливые взгляды, тогда как его половина убирала вязанье в ящик кассы. Мартен, снедаемый не меньшим нетерпением, уже допил вино и уплатил за обоих. Однако Баран уходить не спешил. После первого глотка он достал из кармана пачку сигарет, которую положил туда Жамблье, и вытащил из нее одну. Мартен наблюдал за ним без особого беспокойства: напротив, ему даже хотелось, чтобы напарник дал ему еще один повод для ненависти. Его ожидания не были обмануты. Пачку сигарет, которая была их совместной собственностью, Гранжиль без стеснения убрал в свой карман. И это не было простой забывчивостью. Из-под полуприкрытых век Баран с любопытством наблюдал за Мартемом. Тот решил, что разумнее будет воздержаться от замечания. Пока Гранжиль раскуривал сигарету, Мартен заметил еще одну деталь, на которую раньше не обратил внимания. Из-под пиджака, грязного и заношенного, виднелся рукав нижней рубашки поразительной чистоты, из тонкого шелка. В эту минуту в кафе вошла девочка лет десяти с косынкой на голове и в накинутаой на плечи пелеринке и приблизилась к стойке. Пока она о чем-то негромко разговаривала с хозяйкой, пелеринка соскользнула с ее плечика, открыв желтую еврейскую звезду, нашитую на кофте слева. Увидев этот знак, Мартен подумал о возможной облове на евреев, ведь тогда полиция нагрянет вместе с французскими и немецкими жандармами. Владелец кафе, проследив за его взглядом, угадал причину тревоги и успокоил Мартема. Оказалось, девочка живет в этом доме и пришла с поручением от родителей. Развеяв таким образом опасения клиента, он счел себя вправе на некоторую фамильярность и спросил, указывая на чемоданы:

— У вас здесь табак?

— Нет, мясо, — ответил Гранжиль. — Свинина, совсем свежая и почти что задаром. Могу уступить тебе по полторы сотни за кило.

— Не слушайте его, — сказал Мартен явно заинтересовавшемуся хозяину. — Он мелет чепуху. Это мясо уже продано.



— Не беспокойтесь. Я так и понял, что он шутит. И потом, я никогда не покупаю наобум. Цена — это еще не все. Главное, чтобы дело было чистое. Если б я захотел, я бы давно разбогател, но при моем ремесле приходится быть осторожным. Заметьте, что из-за своей честности я теряю немалые деньги, но по мне лучше, чтоб совесть была чиста.

— Если не считать того, что ты принимаешь в своем заведении евреев, — сурово изрек Гранжиль. — В общественном месте. В одиннадцать часов вечера. Как не стыдно! На тебя стоит донести, чтобы проучить как следует. Пожалуй, я так и сделаю.

Девочка поправила съехавшую пелеринку и опрометью кинулась к двери. Обеспокоенные хозяева старались не смотреть на Гранжиля, они стояли молча, с отсутствующим видом, словно солдаты, попавшие под горячую руку унтеру.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Мартен. — Он малость не в себе.

Осушив стакан, Гранжиль откинулся на спинку стула и стал пристально наблюдать за хозяевами, явно забавляясь их видом. На его лице от уголков глаз к вискам пролегли две усмешливые морщинки.

— Люди, у которых хватает на такое совести, выводят меня из себя, — продолжал он тем же тоном. — На кой черт придуманы законы, если их не соблюдать? Ну и мерзость, ну и паскудство! Да я бы таких мигом упек за решетку. Без всякой жалости! За решетку! Ах вы проходимцы, анархисты, враги нации...

— Хватит, — отрубил Мартен, — ты мне уже осточертел своей трепотней.

— Закройся. Сколько вам обоим лет?

Хозяева оскорбленно молчали, поджав губы и глядя перед собой.

— Ваш возраст, черт возьми! — рявкнул Гранжиль. — Семейное положение и прочая дребедень! Выкладывайте, да поживее!

Его было не узнать. Внезапная ярость, непонятная Мартену, сверкала в его кабаньих глазках, ноздри раздувались.

— Мне исполнился пятьдесят один год в ноябре, — забубнил хозяин, — а Люсьене сорок девять в апреле. Сочетались в двадцать седьмом году в Курбвуа. Детей нет. До тридцать седьмого года работал на Винном рынке. Судимостей не имею. Отношение к военной службе...

— Хватит. Я и так узнал больше, чем надо. Посмотрите-ка на эти тупые рожи, на эти разожравшиеся туши. Полюбуйтесь на этого красавчика, на его физиономию алкоголика: дряблое серое мясо, отвислые, трясущиеся от глупости щеки. Скажи, долго это будет продолжаться? Неужто так и собираешься жить с этакой паскудной харей? А эта уродина, мнящая себя дамой, кичливая фря из желатина с тройным подбородком и с необъятной грудью из топленого сала, лежащей на брюхе! Пятьдесят лет каждому. По пятьдесят лет паскудства. Что вы делаете на земле, вы оба? Вам не стыдно существовать? Но нет, они тут как тут, они устраиваются. Своим жиром они пропитывают вам глаза, голову, воздух, которым вы дышите. Они пачкают всё, даже цвета. Взгляните на красные щеки мадам: это цвет раздавленных на чирьях клопов. А фиолетовый, желтый, серый — когда я вижу их на его харе, меня просто с души воротит. Убийцы, верните миру цвета!

— Где он всего этого нахватался? Уморит, ей-богу, — проговорил Мартен, давясь смехом.

— Я никогда ничего не брал, — запротестовал хозяин, — ни гроша, никогда, клянусь. И Люсьена тоже.

— Замолчите, вы, поганец! — сказал Гранжиль. — Тебя же, Мартен, я буду любить всю свою жизнь. Я просто без ума от твоего котелка. Я не треплюсь, ты человек всей моей жизни. Харкни им в рожу, супругам этим! Харкни, говорю тебе, имеешь право. Глянь, как они тебя к этому подстрекают. Давай-давай, прицелься в урода, отведи душу на вязальщице.

Мартен так хохотал, что плюнуть просто не смог бы. Баран схватил пустой стакан и со

всего размаху запустил им в полку, где он разбился о чрево полной бутылки. Хозяева не осмеливались даже повернуть головы, чтобы оценить нанесенный ущерб. Мартен хотя и не одобрял учиненного погрома, тем не менее смеялся до слез.

— Хороший ты парень, — сказал ему Гранжиль, — до чего ж я тебя люблю, добрая душа. Ты робкий, как девица на выданье, но я не могу перед тобой устоять. Твои чемоданы я готов нести хоть до Гавра, пешком, на коленях, как угодно, куда угодно. Пошли. Я не хочу их больше видеть. Никогда.

Подхватив чемоданы, он направился к двери, бросив через плечо хозяевам:

— Уроды, я не желаю вас знать! Я изгоняю вас из своей памяти.

Обрывки туч еще сновали под звездами, но небо очистилось. На противоположной стороне улицы на выбеленные луной фасады падали тени от крыш. Боковые улицы изредка прочерчивали ночь светлыми поперечинами. Мартен шагал легко. Баран покорило его. Мартен простил ему все, как прощают мальчишке-проказнику; он забыл погреб, предательство, сигареты, загадку его личности и золотые зубы. Впрочем, теперь Гранжиль уже не казался ему таким загадочным: он словно распахнул вдруг всю свою душу.

— И все ж таки они тебе ничего не сделали, — сказал Мартен, пройдя несколько шагов. — Говоришь, они не красавцы. Согласен. Но куда им теперь деваться? Да и потом, какое это имеет значение? О красоте я могу с тобой поспорить. Красота далеко не всегда говорит о том, что внутри. Тот, кто собирается судить по вывеске...

— Не напрягай извилины, — сухо оборвал его Гранжиль.

Однако Мартен не обиделся. Он снова простил проказнику, но приподнятое настроение куда-то исчезло. Вдобавок он вспомнил о деле, и яркий свет луны вселил в него тревогу. Однако Мартен не решался попросить Барана, чтобы тот потушил сигарету, которая могла выдать их полицейскому.

— Скажи-ка, давно ты вставил себе золотые зубы?

— Года два назад.

— Выходит, уже при немцах? Интересно, во сколько тебе это обошлось?

Гранжиль не ответил. У него было плохое настроение. В этом хитросплетении улочек квартала Архивов, куда они углубились с Мартемом, ему никак не удавалось сориентироваться, и он не представлял, как отсюда выбраться. Мартен упивался сознанием своей в некотором роде власти над напарником и считал, что пока может не опасаться капризов его настроения. Сам он шел по лабиринту Маре, этого старинного района, уверенно, как среди бела дня. Уже больше пяти лет живя на улице Сентонжа, он знал в округе каждый камень. Мартему хотелось рассказать своему спутнику о здешних уютных уголках, показать ему кафе, в которых любил сживать, но он догадывался, что подробности его жизни вряд ли того заинтересуют. Золотые зубы Гранжиля, его тонкое белье, случайно увиденное Мартемом в кафе, и речи, с которыми он обрушился на хозяев заведения, выделяли его в ту категорию человечества, о которой Мартен имел лишь самое смутное представление, не умея определить ее. Утверждение Гранжиля, будто он маляр, было всего лишь попыткой скрыть свое настоящее лицо. Этот парень наверняка не занимался никаким постоянным ремеслом и вместе с тем не был ни сутенером, ни профессиональным шантажистом. Его ловкий финт в погребе явно был случайным. С другой стороны, человек, перебивающийся случайным заработком, не вставляет себе золотых зубов и не щеголяет в шелковом белье.

Они шагали молча. Мартен страдал от одиночества и корил себя за озлобление и гнев. Воспоминания о Мариетте, навеянные близостью родных пенатов, вскоре завладели им целиком. Мысленно он снова принялся рассказывать самому себе то, что поведал Гранжилю,

когда тот заходил к нему на улицу Сентонжа перед визитом к Жамблье: «...У меня к тебе есть чувство, говорит она, ты для меня не абы кто, но у меня своя жизнь, и главное — это быть независимой когда хочу, где хочу, и чтоб никакой тип в брюках не требовал у меня отчета. Послушай, Мариетта, отвечаю я ей, я не могу привязать тебя к ножке кровати. Имей в виду, многие на моем месте уже давно наградили бы тебя парочкой оплеух. Однако это не в моем характере. Женщина — она всего только женщина, но ее желания я уважаю. Только предупреждаю тебя, пораскинь мозгами. Жизнь, какую я тебе обеспечиваю, — это как-никак хороший бифштекс, аперитив и кино. Что до чувства и остального-прочего, то такого тебе тоже поискать. Что это ты себе воображаешь? — это она мне. Уж чего-чего, а вашего брата хватает, стоит только нагнуться и подобрать... Она сидела вон там, на краю стола, склонив голову, и глядела исподлобья с таким, знаешь, видом. Ну, тут я, конечно, не стерпел и врезал ей пару раз по мордасам. А она мне в ответ: „Скотина, я все расскажу любовнику...“».

К концу рассказа перед ним в очередной раз встал вопрос, вернется ли она.

— Как ты думаешь, она вернется? — повторил он вслух.

— Кто?

— Мариетта, я ведь тебе рассказывал.

— Да плевать мне на это.

— Я, кажется, говорю с тобой вежливо.

— Сколько ей лет, твоей милашке?

— Пятьдесят пять, — простодушно ответил Мартен.

— Тогда вернется.

— Да ей больше сорока пяти и не дашь. А сложена — ты бы видел! Плечи! Сисек — сколько душа просит. И задница как у трех баб разом. В общем, то, что я называю женщиной.

— Действительно, жаль будет, если не вернется. С другой стороны, она уже не первой молодости. На твоём месте я бы, пожалуй, воспользовался этим, чтобы обрубить концы. У твоей толстухи Мариетты уже не за горами ревматизм и все такое прочее. Да и нрава она не особо покладистого, как я погляжу.

— Я люблю ее. Так что об этом речи нет.

— Тогда будь спокоен, старина. Ты еще увидишь ее, свою куколку. Даже самым фигуристым бабам, в самом соку, не всегда удается подцепить парня, готового их содержать. А твоей пятьдесят пять. Да она вернется без всякого зова.

— Заметь, — сказал Мартен, которого явно не устраивала перспектива такого корыстного возвращения, — заметь, что Мариетту, когда мы сошлись, деньги не интересовали. На хлеб я зарабатываю, это само собой, но для женщины, которая мечтает о роскоши, такая жизнь все-таки не сахар. Не хочу хвастать, но эта женщина любила меня взаправду. И, я уверен, все еще любит.

— Ну что ж, тем лучше. У тебя есть все, что нужно. Чего тогда скулишь?

Мартен почувствовал в тоне Гранжиля раздражение и вновь погрузился в горестные размышления. В какой-то момент ему почудились впереди приближающиеся шаги, но, прислушавшись, он ничего не уловил. Гранжиль наконец выбросил сигарету. Они подходили к перекрестку, и густая тень, в которой они шли бок о бок, обрывалась у залитой лунным светом полосы шириной в несколько шагов. Когда они ступили на противоположный тротуар, из тени, шагах в трех, послышался повелительный мужской голос:

— Стойте! Что у вас в чемоданах?

— Прежде чем разговаривать в таком тоне, — заметил Мартен, — надо бы показаться людям.

Он сразу же различил на фоне светлых ставней лавчонки силуэт полицейского, но,

притворяясь, будто никого не видит, мог позволить себе пренебречь окликом и выигрывал тем самым несколько секунд, которых хватило на то, чтобы выйти из освещенного пространства, где компаньоны находились в чересчур невыгодном положении по отношению к полицейскому.

— Полиция, — объявил тот. — Вы видели форму. Не валяйте дурака.

— Раз вы так говорите, я вам верю. Во всяком случае, я очень рад, что встретил вас. Я как раз искал человека, который мог бы показать мне, как пройти на улицу Севинье.

— Она у вас за спиной.

— Не может быть! Ты слышишь? Улица Севинье у нас за спиной. А все из-за тебя...

Чтобы поддержать игру, Гранжилю следовало бы пуститься в возражения и завязать с Мартеном дискуссию, в которой полицейскому волей-неволей пришлось бы выступить в важной и почетной роли третейского судьи, что создало бы атмосферу непринужденности. Но Гранжиль, ничего не поняв, стоял как истукан.

— Вам сейчас покажут дорогу, — сказал полицейский. — Следуйте за мной в участок.

Это был угрюмый и вьедливый южанин. Похоже, ревностным исполнением своих обязанностей он пытался отыграть за свою неудавшуюся жизнь. Мартен почувствовал, что партия будет трудной.

— Послушайте, господин полицейский. Я не собираюсь заговаривать вам зубы. Дело вот в чем. Утром я решил съездить взглянуть на свое владение в Верьере. По правде говоря, в это время делать там особенно нечего, но меня толкала в шею жена. Мне не хотелось ей перечить, особенно если учесть, что в конце следующего месяца ей рожать. А вы знаете, что такое женщина в положении. Вы, наверное, женаты, господин полицейский...

— Я женат, — неохотно процедил тот, — но детей у меня нет.

— И правильно, господин полицейский. В наше время от детей больше неприятностей, чем радости. У меня-то их пятеро, так что я знаю, что говорю. Но раз они есть, куда от них денешься, верно? Короче, приезжаю я в Верьер ровно в одиннадцать. Мой слуга, как обычно, встречает меня на вокзале...

— Это он, что ли? — спросил полицейский.

— Он самый. Может, пороху он и не выдумает, но малый надежный. Сами посудите, он служит в нашей семье с пятнадцати лет.

— Понятно, — сказал полицейский. — Славный парень, хотя и простоват, а?

Он издал снисходительный и понимающий смешок. Мартен поставил чемоданы на тротуар. Баран, чуть нагнувшись, тоже поставил свою ношу. А когда стал выпрямляться, то нанес полицейскому сокрушительный удар в челюсть, отчего тот, не издав ни звука, осел и повалился кулем. Гранжиль наклонился над лежавшим, обшарил мундир и, сдернув с головы полицейского чудом удержавшуюся на ней фуражку, отшвырнул ее шагов на пятнадцать, на середину мостовой. Козырек заблестел в свете луны.

— Драпаем, — сказал Мартен. В густой тьме тротуара он скорее угадывал, чем видел действия своего напарника.

Подхватив чемоданы, они быстро зашагали прочь, не обменявшись ни словом и торопясь свернуть на ближайшую улицу. Тут луна светила уже всюду, и они пошли гуськом, прижимаясь к стенам, чтобы укрыться в узкой полосе тени у самых домов. Лишь когда они миновали второй поворот, Мартен излил свое недовольство:

— Считай, мы влипли. Можешь гордиться собой, у тебя это славно получилось. Того и гляди, нас накроют, а за такое дело — сам понимаешь... Давай-ка ноги в руки.

— Не понимаю, чего ты трясешься. Фараон лежит без памяти, когда-то он еще оклемается.

— Вот-вот, — хмыкнул Мартен. — Стоит ему очухаться, и он сразу схватится за свисток. Не пройдет и пяти минут, как вся полиция Третьего округа откроет на нас охоту.

— Я бы очень удивился. Его свисток у меня в кармане.

Мартен невольно восхитился предусмотрительностью Барана, но вслух, понятное дело, ничего не сказал. Он злился на Гранжиля за то, что тот в непростой ситуации осмелился проявить инициативу, тогда как инициатива должна была исходить от него, Мартена, и только от него. Борясь с одышкой, он таил в себе злобу, чтобы не расхотеть понапрасну дыхание и сохранять взятый темп: ему по-прежнему чудился позади топот полицейских.

— Ни к чему так выкладываться, — сказал Гранжиль, — все тихо.

— Если фараоны на велосипедах поджидают нас на одном из перекрестков, не надейся, что они протрубят в охотничий рог!

— Ладно, кончай. По-моему, все обошлось как нельзя лучше.

— Если не считать того, что по твоей милости меня могут сцапать в моем собственном квартале. Но тебе на это наплевать. Я бы и сам, без твоей помощи, управился с фараоном. Вот ты и решил все сделать по-своему.

— Не в этом дело. Мне просто пришла охота поразвлечься.

— Что ты мелешь? Издеваешься надо мной?

— Ты становишься утомительным, — вздохнул Гранжиль.

— Слушай, твои дурацкие шуточки меня уже достали. Оно, конечно, приятно развлекаться за чужой счет. И золотые зубы — приятно. Но знаешь, есть еще и приличия, хоть какое-то уважение к людям.

— Вот что, если будешь нудеть, я уйду и оставлю тебя тут с твоими чемоданами.

— Хотел бы я на это посмотреть.

— Удаюсь в свете луны, засунув руки в карманы, только и всего. Меня уже не удивляет, что твоя Мариетта тебя бросила. В глубине души она всегда считала тебя занудой. А пятидесятилетние курочки любят, чтобы их петушок был побойчее. Ты просто оказался не тем, кто ей нужен.

Неожиданно один из чемоданов Гранжиля обо что-то ударился. Это оказался Мартен. Выпустив свою ношу из рук, он принялся кричать:

— Поставь-ка чемоданы, нам надо поговорить! Я твоей трепотней уже сыт по горло. Пусть меня заметут, раз уж такое дело, но тебя я проучу.

Задыхаясь от быстрой ходьбы и от подступавшего бешенства, он ринулся на неприятеля, наклонив голову и почти не видя его. Гранжиль схватил его за запястье и, получив несколько весьма чувствительных ударов по ребрам, сумел перехватить другую руку. Мартен дергался, пытаясь вырваться, но его запястья были зажаты мертвой хваткой, так что каждый рывок грозил ему вывихом. В бешенстве он принялся бодать противника головой в грудь. Гранжиль, смеясь, отступил к стене дома. Мартен, изогнувшись и приплясывая на месте, упорно продолжал наносить удары головой, словно надеясь вмуровать Гранжиля в стену. Он бодался так неистово, что его пальто треснуло на спине по шву, а сам он издавал в такт своим отчаянным наскокам звуки, напоминавшие хриплый лай.

— Полегче, полегче! — приговаривал Гранжиль. — Так недолго и дом развалить. Забавляйся, если охота, но не поломай себе что-нибудь.

В конце концов, опершись о стену, он стряхнул с себя Мартена и оттолкнул к чемоданам.

— Пошли отсюда, — мягко сказал он, отпустив его запястья. — Уже поздно, а мы еще не добрались до места.

— Я потерял котелок, — пробормотал Мартен.

Достав карманный фонарик, Гранжиль принялся искать котелок, который оказался у края тротуара. Стряхнув с него пыль и вернув ему первоначальную форму, он водрузил его на голову своего компаньона, который стоял понурясь и бессильно уронив руки.

— В путь, — сказал Баран. — Самое трудное впереди. Когда минуем бульвары, впереди будет опасный подъем. Тебе придется думать за двоих.

Мартен взял чемоданы. На стилой сини неба сверкали луна и звезды. На подходе к заставе Сен-Мартен в лунном свете начали появляться силуэты прохожих, и перестук женских башмаков долго отдавался в ночи. Когда они уже собирались пересечь цепь бульваров, им пришлось остановиться, чтобы пропустить группу немецких солдат на велосипедах. В касках, с карабинами через плечо велосипедисты бесшумно катили по направлению к Опере. Доставщики вступили в опасную зону. Прежде всего следовало держаться подальше от зданий, в которых разместились службы немецкой армии, — подступы к ним охранялись полицией. Их маршрут, представлявший собой ломаную линию, должен был вывести их через квартал заставы Сен-Дени и квартал Рошешуар к цирку Медрано. Без двадцати двенадцать они добрались до сквера Монтолона и начали взбираться на Монмартрский холм. Где-то вдалеке на западе бухало зенитное орудие. После того как они пересекли бульвары, им не раз приходилось хорониться в темных углах от полицейских, пеших и на велосипедах. Дважды их судьба висела буквально на волоске. В эти моменты Мартен терялся и выглядел совсем беспомощно. Его беспомощность компенсировалась отменным хладнокровием и властностью Гранжиля. Теперь уже он казался главой их предприятия и, как бы сам того не замечая, руководил им. Мартен, впрочем, не оспаривал его решений, но иногда слегка саботировал, словно желал провала этой экспедиции, перестав, по-видимому, считать ее своей.

После долгого пути подъем показался им тяжким. Баран подстраивал свой шаг под поступь Мартена, выдававшую крайнюю степень усталости. Где-то далеко в нескольких местах били зенитки — глухо доносившимися редкими залпами, которые постепенно учащались. В случае воздушной тревоги следовало опасаться полицейских патрулей, более многочисленных и особенно опасных: в мельтешении нарядов гражданской обороны их будет нелегко заметить.

— Если б ты не был так скверно одет, — брюзжал Мартен, — мы могли бы зайти в убежище. Там мы ни у кого не вызовем подозрений со своими чемоданами. Правда, в таком тряпье тебя сразу примут за вора.

— Это верно, вид у меня бандитский. Но если сирены завоят, когда мы дойдем до бульвара, можно будет залечь в моей берлоге. Я живу неподалеку.

Тревогу объявили, когда они подходили к проспекту Трюдена.

Просторная мастерская была хорошо обставлена. Гранжиль задернул стеклянную стену занавесом из синей саржи и, облачившись в домашний халат, заглянул в еще не остывшую печку. Там была только теплая зола. Мартен поставил чемодан на пол. Стоя возле двери, он внимательно и враждебно оглядывал мастерскую. Шкаф, сундук, мольберты, диван, кресла, столы — каждый из этих предметов обстановки, казалось, был для него объектом размышлений. Гранжиль дружелюбным тоном пригласил его сесть. Мартен не двинулся с места. Он кивнул в сторону столика у стеклянной стены, на котором были расставлены пастельные рисунки Гранжиля, изображавшие полуодетых женщин с грудью наружу или в высоко задранной комбинации. Одна из них, совершенно голая, была в туфлях на высоких каблуках и в шапockляке на рыжих кудрях.

— Твоя работа?

— Моя. Я сбываю их в лавчонки на площади Тертр и дальше. На такое покупатели всегда найдутся. А когда пришли немцы, стал выменивать их на съестное. Позавчера за одну голую красотку целый окорок получил. Но теперь таких рисунков я делаю меньше, чем прежде. Если повезет, то, наверное, смогу совсем бросить это дело.

Мартен еще некоторое время разглядывал рисунки, потом прошел в середину мастерской.

— А это?

На мольберте был писанный маслом городской пейзаж — вполне вероятно, тот самый, который они созерцали днем через витрину кафе на бульваре Бастилии. Мартен видел лишь хаотическое смешение цветовых пятен. Рисунок же был четок. Черная линия, тяжелая, как свинцовая перемычка в витраже, окаймляла здания, но цвет, выходя далеко за контуры, создавал собственную гармонию, далекую от рисунка, с которым он совпадал лишь отчасти. На полотне значилась подпись: «Жилуэн».

— Это моя настоящая работа, — ответил Гранжиль, — моя отрада и мое мучение. Мои полотна начинают продаваться, но я создаю их для себя и только для себя. Плевал я на критиков и торговцев. Нравится им это или нет, но в них я вкладываю всего себя. Свое сердце и свою правду.

Гранжиль говорил все это с пылом, неожиданным для Мартена. Маленькие глазки на его бараньей физиономии излучали уже не иронию, а воодушевление, вдохновенную и взыскательную радость. Он достал женский портрет в рамке и поставил его на мольберт. Здесь манера художника проявлялась еще нагляднее, чем в пейзаже в серых тонах. Женщина была нарисована сидящей у окна. Уверенно проступал ее четко очерченный силуэт. Поток багряного света, исходивший от букета тюльпанов, озарял половину ее лица, тогда как голубизна неба ложилась на лоб нежной дымкой, истекавшей словно из голубизны ее глаз. Цвета же, принадлежавшие, так сказать, самому лицу, выплескивались с него на оконные стекла, образуя на них радужные пятна.

— А это тебе нравится?

— Мне это до фени, — ответил Мартен со сдержанной свирепостью.

Выражение лица у Гранжиля изменилось. В его кабаньих глазках потух огонек энтузиазма, и взгляд исполнился меланхолией. Но почти тотчас же физиономия Барана осветилась той слегка отчужденной иронией, в коей художник, похоже, уверенней всего обретал душевное равновесие.

— Быть может, ты предпочитаешь Жилуэну Гранжиля? Впрочем, не буду настаивать. Ты ведь скажешь, что на Гранжиля тебе наплевать точно так же, как и на Жилуэна, а меня это огорчит. Давай-ка подумаем лучше о чемоданах. Пока не доберемся до мясника, мы друзья по гроб жизни.

Гранжиль запустил руку в карман и, достав оттуда пять тысяч франков, которые он отобрал у Жамблье, протянул их Мартену:

— Держи, пока я не забыл. Отдашь их этому простофиле, который так легко с ними расстался. Порадуешь его.

Взяв деньги, Мартен положил их в бумажник.

— Когда мы придем к мяснику, — сказал он, — я заплачу тебе четыреста пятьдесят франков, как договорились с Жамблье.

— Если забудешь, я сам тебе напомню. А теперь садись. До отбоя тревоги я успею приготовить нам по чашке кофе.

Мартен уселся в кресло. Оставшись в одиночестве, он попытался подвести итог впечатлениям и обидам, но усталость и какое-то отвращение ко всему, даже к жизни, притупляли его умственные способности и не позволяли прийти к какому-либо выводу. То, что Баран вернул пять тысяч франков, из-за которых Мартен вышел из себя, вроде следовало бы записать Гранжилю в актив. Однако Мартен злился на этот неожиданный жест, словно чуял в нем какой-то подвох. Поступки напарника не причинили Мартену особого вреда, и его недовольство, смутное, лишенное серьезных оснований, относилось главным образом к манере того держать себя. К его озлоблению примешивалось неудовлетворенное любопытство по

поводу постоянной иронии, за которой укрывался Гранжиль, и секрета двуличия, благодаря которому художник мог так легко выступать в двух ипостасях. История их знакомства представлялась ему теперь чередой неясностей и двусмысленностей. В конце концов Мартен уснул — с ощущением, что его обманули.

Вошедший в мастерскую Гранжиль остановился при виде своего спящего компаньона. Мартен храпел, приоткрыв рот и положив руки на подлокотники кресла, он сидел прямо, и его черный котелок был слегка сдвинут на затылок. Гранжиль бесшумно приблизился, открыл блокнот для эскизов и принялся рисовать. Сильно нажимая на карандаш и почти не отрывая его от бумаги, он набросал вначале поясной контур туловища, а затем с той же тяжеловесной, но уверенной медлительностью изобразил круглую физиономию Мартена. Похоже, Гранжиль остался доволен своей работой. И не только потому, что портрет получился похожим: он решил, что сумел выразить в этом наброске внутреннюю сущность Мартена, которую до сих пор недооценивал и почти разгадал, не будучи в состоянии определить точно. Глядя на рисунок, он, как ему показалось, понял, что мужская честность — это чувство верности самому себе, вызываемое уважением к собственному образу, каким он отражается в зеркале социальной жизни. По его мнению, это было справедливо и для Мартена, и для всех носящих гордое звание среднего француза. Что касается самого Гранжиля, то он, считая себя тоже человеком честным, был убежден, что повинуется соображениям более высокого порядка, не нуждающимся в этом зеркале, и пользовался им лишь изредка, как бы для контроля. Шутки ради он дополнил свой набросок, пририсовав массивную серебряную подкову, приколотую к галстуку, и подписал внизу листа дату. Когда он закрывал блокнот, раздался телефонный звонок. Мартен проснулся, с удивлением огляделся и поправил на голове котелок. Аппарат стоял на столике шагах в трех от кресла, в котором он сидел.

— Луиза? — говорил Гранжиль. — Добрый вечер... Меня тут не было, я устроил себе вечер отдыха... Нарядился гангстером... честное слово, не смейся, я даже принес неплохую добычу. Я играл роль злодея, анархиста, законченного негодяя... Чрезвычайно забавно, уверяю тебя... Вовсе нет, это, напротив, очень легко, слишком легко. Тиранами становятся самые добрые, я всегда так считал... Что? Нет, не стоит преувеличивать. Так, опереточный громила. Должен тебе сказать, я играл еще и демона-искусителя... как раз нет... Тем более что под конец я даже расчувствовался...

Не отнимая трубки от уха, Гранжиль обернулся. Позади него стоял Мартен и пристально смотрел на него.

— Мразь, — кратко произнес Мартен.

— Я расскажу тебе обо всем завтра, — заторопился Гранжиль. — Надеюсь, ты повеселишься не меньше, чем я. Хотя, по сути, это скорее печально... Хорошо... Минутку...

Мартен схватил трубку, пытаясь вырвать ее у него из рук.

— Я скажу ей пару слов, твоей потаскухе.

Гранжиль не стал сопротивляться и нажал на рычаг, прервав разговор. Мартен с такой яростью швырнул трубку на пол, что она раскололась.

— Подонок, теперь я все понял. Выходит, ты решил надо мной поизгаляться. Я-то принял тебя за неудачника, хотел помочь тебе, а ты — ты посмеивался в кулак, думая о своем счете в банке. Уже одно это подлость. Ты обязан был отказаться, оставить эту работу тому, кто в ней в самом деле нуждался. Но господину вздумалось прогуляться по ночному Парижу. Господин искал приключений. На улице Лапп все позакрывали, и тебе этого не доставало. Повтори же это, подонок, повтори, что ты играл злодея, главаря...

— Мартен, не сердись. Сейчас я тебе все объясню...

Гранжиль хотел снять с себя обвинение в дешевом дилетантстве — самом постыдном,



самом непростительном преступлении в глазах человека, трудом зарабатывающего себе на жизнь и имеющего преувеличенное представление о значимости если не роли своей, то действий. «Нет, — думал он, — я пошел с ним в погреб не как дилетант; я поддался серьезному, чисто человеческому любопытству, и то же самое любопытство толкнуло меня на эту проделку с Жамблье, стремление не довольствоваться первым впечатлением, а копнуть глубже, взбаламутить это болото». Тем не менее он не сказал это вслух, осознавая в глубине души, что в его поведении было нечто от игры или, по меньшей мере, от поисков эстетического наслаждения.

— Не нужны мне твои объяснения, — кипел от негодования Мартен. — И потом, тут нечего объяснять. Ты забавлялся как девка, не заботясь о последствиях. Да-да, как девка. Я зарабатываю себе на жизнь, мне приходится нелегко. А ты влез в мою работу, ты сделал все, чтобы мне подгадить.

— Ну все, будет, — сухо отрезал Гранжиль. — Работу, которая от меня требуется, я сделаю, и Жамблье не останется в накладе.

— Плевать мне на это. Ты влез в мою работу.

— Вот заладил: моя работа, моя работа... Уши вянут. Котелок — это, конечно, неплохо, но тебя заносит уже до цилиндра.

Пожав плечами, Гранжиль отошел. Мартен обернулся. Взгляд его упал вначале на столик, где были расставлены распалюющие воображение рисунки с голыми красотками, а затем на женский портрет, стоявший на мольберте. Ни секунды не колеблясь, он устремился к мольберту, сжимая в руке карманный нож. Всадив лезвие в самую середину неба, он распорол портрет сверху вниз и справа налево.

— Я тоже умею забавляться с чужой работой...

Он нагнулся было к пейзажу, стоявшему под мольбертом, но на него уже навалился Гранжиль. Пока они боролись, завывала сирена отбоя воздушной тревоги, и Мартен даже не услышал стога, который издал его напарник, когда лезвие ножа вошло ему в живот.

Мясник предложил Мартену холодный ужин, но он согласился только на стакан вина. Осушив его залпом, он застыл на стуле, на который плюхнулся, едва войдя в чулан. Последний участок пути его совсем вымотал. Мясник твердил, что он не понимает, как можно было в одиночку преодолеть такой крутой подъем с ношей более чем в сто кило. Но Мартен не слушал его. Он разглядывал свои руки, дрожавшие от усталости, и все еще чувствовал на затылке и плечах кожаную лямку, которой он связал чемоданы. Во время пути от мастерской до лавки мясника, всецело поглощенный физическими усилиями, он, словно выючная лошадь, думал одними лишь мускулами. Теперь его сознание, еще наполовину затемненное тошнотворной усталостью, мало-помалу прояснялось. Отчетливая картина, всплывая из глубин памяти, завладевала его мыслями. Это было воспоминание о турецком солдате, которого он проткнул тесаком в 1915 году. О свежем трупе, лежавшем на правом боку скрючившись, с прижатыми к окровавленному животу руками. Так ясно, так правдиво, как сейчас, этот образ никогда еще не представлялся Мартену.

Обескураженный молчанием гостя, мясник ушел в лавку взвешивать свинину и укладывать куски мяса в ледник. Мартен не заметил, как тот вышел. Он смотрел на мертвеца. Время от времени от трупа турка отделялся труп Гранжиля и тотчас пропадал. Мартен, смутно осознавая свое мошенничество, пользовался этим совмещением трупов, чтобы оправдать свое преступление: «Тогда была война. По мне, так пусть бы себе жил. Я не злодей. Но если б не он, то я. Человек не всегда свободен в своих поступках. Вот где правда. Человек не всегда свободен в своих поступках». Мясник тем временем звонил по телефону:

— Алло! Жамблье?.. Это Маршандо. Вес правильный. Да, передаю ему трубку... Спокойной ночи.

Мартен дотащился до прилавка, где стоял телефонный аппарат.

— Да, это я. Он мертв... деньги он мне отдал... Не суйтесь не в свое дело. — Положив трубку, он сказал мяснику: — Я сейчас уйду. Но сначала дайте мне конверт и марку.

Он достал из бумажника пять тысяч франков, которые ему вернул Гранжилль, запечатал их в конверт и надписал на нем адрес Жамблье.

— Еще стаканчик вина? — предложил мясник. — Или глоток коньяку? У меня найдется.

— Спасибо. Могу я оставить у вас чемоданы? Я зайду за ними завтра вечером между шестью и семью.

Мартен вышел, не отвечая на любезности мясника. Было полвторого ночи. Ветер, тоненько подвывая, дул на безлюдных улицах. Мартен шагал в лунном свете, нимало не заботясь о том, что его может увидеть полицейский, он даже не думал об этом. Когда он шел с четырьмя чемоданами из мастерской Гранжиля, он тоже не прятался и брел по оживленным после отбоя тревоги улицам, не думая об опасности.

Его неотступно преследовал образ убитого им турецкого солдата. Мертвец одиноко лежал на выступе скалы, словно на специально для него предназначенном ложе, и ничто вокруг него не напоминало о сражении, в котором он пал. «Человек не всегда свободен в своих поступках», — твердил себе Мартен. Но мало-помалу мертвец раздваивался. Как при двойном экспонировании, тело Гранжиля поначалу было всего лишь смутным отпечатком на трупe солдата, но потом все яснее выделялось на его фоне. Иногда Мартену удавалось совместить оба силуэта в один, но фигура Гранжиля тотчас занимала свое место. Две головы, два торса вырисовывались отдельно. В конце концов рядом легли два мертвеца: солдат в мундире и художник в распахнутом халате поверх окровавленной одежды. Вид Гранжиля был не так уж страшен. Соседство солдата делало его смерть одной из неизбежностей войны. «Человек не всегда свободен в своих поступках», — вновь подумал Мартен. Внезапно труп турка отступил к горизонту его памяти и сгинул. Вокруг мертвого Гранжиля, лежавшего теперь посреди беспорядка разбросанных полотен и опрокинутого мольберта, возникла обстановка мастерской. Кровь вытекала из двух ран, на животе и на боку, и пропитывала одежду Гранжиля. Лужица крови расползлась на пейзаже бульвара Бастилии в серых тонах подобно солнечному закату. Впервые после трагедии Мартен почувствовал себя наедине с совершенным им убийством. Первая его мысль была о консержке. Он представил себе ее исполненное укоризны лицо и осознал, что стал врагом общества. Тем временем он добрался до пересечения улиц Аббатис и Равиньяна. Ледяная пустынность перекрестка вызвала у него головокружительный страх. У консержки было суровое лицо. Она стояла в центре группы, в которой он узнавал соседей по подъезду, коммерсантов улицы Сентонжа, родственников, брата Анри, который держал закусочную на маленькой улочке Шартра, кузенов из Менильмонтана, компаньонов по работе, друзей детства. Они переговаривались между собой: «Кто бы мог ожидать такое от Мартена?» На этих лицах из привычного мира, на которых он обычно искал отражение собственной личности, он обнаруживал свой лик убийцы и смутно различал уготованную ему кару. Он, самый общительный из людей, уже был приговорен к вечному одиночеству перед этими сурово нахмуренными лбами. Между ним и консержкой выросло непреодолимое расстояние. Никогда больше не осмелится он написать письмо брату Анри, навестить кузенов из Менильмонтана. По улице он будет ходить, избегая взглядов бывших компаньонов и делая вид, что никого не узнаёт. С работодателями будет разговаривать без былой самоуверенности. Перестанет торговаться с ними.

На безлюдных улицах Монмартра лунный свет обострил в нем чувство одиночества.

Провалы теней таили в себе сплошное отчаяние. Мартен позабыл о Гранжиле, думая только о преступнике, коим он стал. Шел он быстро. Если б не усталость, он пустился бы бегом, чтобы удрать от этого одиночества и, быть может, оказаться среди других людей, незнакомых, для которых он и сам был бы незнакомцем. Мартен углубился в пугающие своей чернильной теменью улочки. Ему, обмирающему от страха, казалось, что на площади Пигаль он наконец найдет человеческое присутствие, в котором так нуждался. Много раз ему чудились какие-то отголоски, но, когда он вышел на площадь, она предстала ему белой от лунного света и пустынной. Только один немецкий солдат торопливо шагал по тротуару. Мартен бросился ему вдогонку. Встревоженный, солдат остановился и спросил:

— Вы хотите мне что-то сказать?

Мартен развернулся, сошел с тротуара и поспешил прочь. Солдат проводил его взглядом, проворчав:

— Verrückt, der Mann<sup>[1]</sup>.

Под луной площадь была безобразно голой. Балюстрада метро, тротуары, иссякший фонтан с опустевшей чашей в чередовании холодного яркого света и непроглядно черных теней приобретали грубую, режущую глаза рельефность. Находясь в центре всех этих безжизненных улиц, берущих от нее начало, площадь, казалось, рассылала в бесконечность пустоту и тишь. Мартен брел без всякой надежды, но вдруг, подходя к пятачку в центре площади, отчетливо услышал звук голосов, доносившийся, похоже, с улицы Пигаль. Он ускорил шаг. Улица была погружена во тьму. На рубеже тени и света он увидел человека в черном пальто, беседующего с другими людьми, невидимыми в ночи. Когда он оказался в нескольких шагах от группы, неизвестные умолкли, и из темноты выступили двое полицейских.

— Что вы тут делаете? — спросил один из них.

— Возвращаюсь домой. Представьте, меня застигла воздушная тревога. Я был у друзей и уже собрался было уходить...

Избавившись от гнета одиночества, Мартен говорил свободно, с воодушевлением, в котором сквозило чуть ли не ликование.

— Отбой тревоги дали в двадцать минут первого. А сейчас два.

— Я знаю. Сейчас я вам все объясню...

Человек в штатском, до сих пор не вступавший в разговор, подошел, чтобы лучше разглядеть Мартена.

— Берите его, — скомандовал он полицейским.

Мартен сопротивлялся — поскольку единственным его чаянием было провести ночь в участке, он решил вести себя дерзко. Полицейские зажали его с двух сторон, угощая тычками в ребра. Уперев кулаки в бедра, они с силой поддавали Мартену локтями. Группа двинулась во тьму, спускаясь по улице Пигаль. Из ночного кабаре с потушенными огнями едва просачивалась музыка.

— Вы не имеете права, — бубнил Мартен. — Вы еще попомните меня, будь вы хоть трижды фараоны.

Полицейские отвечали на это лишь тычками локтей, точными и чувствительными. Мартен успокоился — он наконец обрел пристанище, где до завтрашнего дня сможет спастись от тишины, от одиночества, от взглядов консьержки и друзей. Он уже чувствовал себя свободней и думал о человеке, которого убил. Его душа начала наполняться тихой грустью, сердце щемило дружеским сочувствием к убитому.

Они вышли на перекресток, залитый лунным светом. Инспектор, шагавший впереди, остановился и сделал им знак остановиться. При мысли о том, что его, быть может, отпустят на

все четыре стороны, Мартен не на шутку встревожился. Здесь было так же пустынно и жутко, как и на площади Пигаль. Инспектор держал в руках плоский прямоугольный предмет, завернутый в газету. С неуклюжей, порывистой поспешностью он принялся разворачивать пакет — толстые шерстяные перчатки мешали ему. Его словно охватило нетерпение.

— Ты знал художника по имени Жилуэн?

— Нет, — ответил Мартен.

Инспектор сунул ему под нос блокнот в серой полотняной обложке, который он наконец извлек из обертки. Блокнот был открыт на странице, заложеной полоской газетной бумаги. Мартен увидел портрет, дату.

— За что ты его убил?

Мартен не ответил. Его молчание становилось многозначительным. Инспектор и полицейские озабоченно смотрели на него, поджидая момент, когда его можно будет расценить как признание. Мартен, впрочем, отнюдь не замечал их озабоченности. Он испытывал умиротворенность от того, что его судьба наконец пришла в согласие с его новым лицом, отражаемым зеркалом его повседневного бытия. Одиночество и тишина улиц, которые подстерегали его во время ночных походов, уже не таили в себе угрозы. Он больше ничего не боялся.

— За что ты его убил? — повторил инспектор уже мягче.

На этот раз Мартен попытался найти вразумительный ответ и надолго задумался. Тут были и уход Мариетты, и странное поведение Гранжиля, и его маленькие, излучавшие иронию глазки, и эта загадка противоречий, разрешившаяся столь неприятным сюрпризом, и воздушная тревога. Горстка мелочей, почти детских обид. Завершение неудачного дня. Был еще и турецкий солдат. В возрасте, в каком мальчишки из порядочных семейств еще ходят в школу, Мартена послали на штурм полуострова с тесаком в руке. Но пусть этим займется адвокат. Мартен ответил степенно и просто:

— Знаете, человек не всегда свободен в своих поступках.

Один из полицейских расхохотался. Впрочем, увидев, что двое его сослуживцев сохраняют серьезность, он смущенно умолк. До комиссариата было уже недалеко, и инспектор счел излишним надевать на убийцу наручники. Полицейские просто взяли его с обеих сторон под руки. Они снова двинулись в путь и вошли в тень. Мартен вдруг сообразил, что забыл опустить в почтовый ящик письмо с пятью тысячами франков для Жамблье — оно так и лежало в кармане пальто. Он вытащил его и незаметно для своих стражей уронил позади себя на мостовую. Утренний прохожий подберет конверт и опустит его в ящик. В честности этого безвестного прохожего Мартен не сомневался ни секунды. Никогда еще он не верил так безгранично в добродетель себе подобных.

*Перевод Вал. Орлова*

# Сборщик жен

В маленьком городке Нанжикуре жил когда-то налоговый инспектор по фамилии Готье-Ленуар, которому было очень трудно платить налоги. Дело в том, что жена его тратила много денег на парикмахера и портниху, а причиной этому был красавчик лейтенант из расквартированного в городе обоза: каждое утро он проезжал верхом перед ее окнами, а днем она частенько встречала его на Главной улице.

Вообще-то г-жа Готье-Ленуар была верной женой и не держала в мыслях ничего — ну, почти ничего — дурного. Ей просто нравилось представлять себе, как она нарушила бы супружеский обет в объятиях статного молодого щеголя, и при этом знать про себя, что в ее мечтах не было ничего несбыточного — отнюдь! Вот потому-то лучший в Нанжикуре парикмахер каждую неделю мыл ей волосы шампунем и делал красивую укладку; все вместе стоило 17 франков, к этому еще надо добавить то массаж, то стрижку, то перманент. Но самая большая статья расходов приходилась на платья, костюмы и пальто: все это она заказывала у мадам Легри на улице Рагондена (Рагонден, Леонар, род. в 1807 г. в Нанжикуре, поэт, мастер изящного стиха, автор сборников «Влюбленная листва» и «Оды кухне Люси»; во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. мэр города. Основал в Нанжикуре картинную галерею. Выдающийся археолог; последние годы его жизни омрачила нашумевшая ссора с проф. Ж. Понте по поводу развалин Алибьенской башни. Ум. в 1886 г.; мраморный бюст Р. работы нанжикурского скульптора Жалибье установлен на площади Обороны, куда выходит улица, названная именем Р.) — так вот, у мадам Легри, которая шила для самых знатных дам Нанжикура. Налоговый инспектор Готье-Ленуар знатным человеком не был, зато аккуратно платил по счетам от портнихи, как только получал их; потому-то, когда наступало время уплаты налогов, он неизменно оказывался в стесненных обстоятельствах.

Однако налоговый инспектор никогда не упрекал жену за непомерные расходы. Напротив. Он часто бросал одобрительные взгляды на ее туалеты, что могло быть воспринято как поощрение к новым тратам. Ему было 37 лет, рост 1 м 71 см при объеме груди 85 см, брюнет с овальным лицом, карими глазами, небольшим носом и черными усами; на щеке — поросшая жесткими волосками родинка, расположенная так, что никакая борода бы ее не скрыла. Инспектор очень добросовестно относился к своей работе и нередко трудился даже в неурочные часы, а так как ему самому всегда трудно было платить налоги, он от души сочувствовал простым смертным, то есть всем налогоплательщикам. Когда они приходили в налоговое управление, он встречал их добродушной улыбкой и с готовностью предоставлял любые отсрочки. «Я ведь не с ножом к горлу... — говорил он, — заплатите, когда сможете. В конце концов, выше головы не прыгнешь», а иногда даже позволял себе вздохнуть: «Ах, если бы это зависело от меня...» Налогоплательщики его намеки понимали с полуслова и не спешили платить. Были среди них и такие, что жили, не зная забот, и при этом задолжали казне налоги за несколько лет. Вот им инспектор особенно симпатизировал. Восхищаясь в душе этими людьми, он говорил о них с нескрываемой нежностью. Однако, будучи лишь маленьким колесиком в бюрократической машине, он был вынужден посылать задолжникам предупреждения, а иногда и направлять к ним судебного исполнителя. От необходимости принимать эти суровые меры у него разрывалось сердце. Всякий раз, решившись послать налогоплательщику последнее предупреждение, инспектор прилагал к нему любезное письмецо, чтобы по возможности смягчить суровость казенных формулировок. Иногда угрызения совести мучили его так, что после работы он даже отправлялся к кому-нибудь из своих задолжников и говорил с приветливой улыбкой: «Вы завтра получите предупреждение, но не придавайте, пожалуйста,

этому значения. Я вполне могу еще немного подождать».

И лишь к одному налогоплательщику во всем Нанжикуре налоговый инспектор питал враждебные чувства. Это был г-н Ребюффо, богатый домовладелец, который жил в красивом особняке на улице Муанэ (Муанэ, Мельшиор, род. в 1852 г. в Нанжикуре. Изучал архитектуру в Париже, затем вернулся в родной город. Среди зданий, построенных по его проектам, наиболее примечательны сберегательная касса и крытый рынок для торговли зерном. Ум. в 1911 г. в результате несчастного случая на охоте). Этот г-н Ребюффо всегда платил налоги раньше всех. Получив налоговую карточку, он в тот же день являлся к инспектору и весело говорил: «Ну-с, господин Готье-Ленуар, давайте уладим наше дельце. Каждый платит, сколько с него причитается, не так ли? Терпеть не могу что-либо откладывать в долгий ящик». Он доставал из бумажника пачку тысячефранковых банкнот и начинал считать вслух: один, два, три, четыре и так до шестидесяти с лишним, потом переходил к купюрам по сто франков, добавлял немного мелочи, прятал в карман квитанцию и, ожидая от инспектора одобрения, неизменно произносил с довольной улыбкой человека, находящегося в ладу со своей совестью: «Теперь я чист до будущего года». Но инспектор ни разу не сумел выдавить из себя ни единого доброго слова в ответ. Он холодно прощался и вновь склонялся над бумагами, а когда посетитель направлялся к двери, провожал его сердитым взглядом.

Однажды — это было в 1938 году — у налогового инспектора совсем стало плохо с деньгами. А случилось вот что: проходя как-то по Главной улице, г-жа Готье-Ленуар увидела, как ее красавчик лейтенант следует по пятам за одной молодой вдовушкой, буквально раздевая ее взглядом (иного слова не подберешь). На другой день она послала лейтенанту анонимное письмо, в котором сообщалось, что вдовушка страдает венерической болезнью, затем отправилась к мадам Легри и заказала нарядное голубое платье, еще одно шерстяное спортивного фасона, твидовый костюм, крепдешинный костюм с несколькими блузками и, наконец, светло-зеленое пальто с накладными карманами. Чтобы справиться с такими расходами, ее муж был вынужден потратить часть денег, отложенных на уплату налогов. Впрочем, это его не слишком встревожило. Каждый год он откладывал нужную сумму, но всякий раз она успевала растаять до августа. Он лишь заметил, что в нынешнем году события развивались быстрее обычного, и выразил надежду, что на этот раз жена запаслась туалетами по крайней мере на год вперед. Но всего месяц спустя она купила шесть шелковых комбинаций, четыре шелковые пижамы, шесть пар шелковых панталончиков, шесть шелковых лифчиков, два атласных пояса с подвязками, двенадцать пар шелковых чулок и две пары домашних туфель без задников — розовые и белые.

И вот однажды октябрьским вечером налоговый инспектор покинул контору в крайне расстроенных чувствах. Когда он вышел на площадь Борнебель (Борнебель, Этьен де, род. в 1377 г. в замке Борнебель. В 1413 г. руководил обороной города, осажденного бургундцами, и поклялся, что скорее умрет, чем сдастся. Действительно не сдавался, пока, на восемнадцатый день осады, не кончились запасы продовольствия. Ум. в 1462 г. в Париже), заморосил дождь. Ярко освещенные витрины многочисленных лавок заливали площадь светом. Инспектор свернул к почте, расположенной на углу Главной улицы; остановившись перед почтовым ящиком, достал из кармана листок бумаги зеленого цвета и несколько раз прочел адрес на нем. Это было официальное уведомление, которое он направлял сам себе. Поколебавшись, он опустил его в ящик, потом вынул из другого кармана пачку таких же уведомлений, предназначенных другим должникам, и бросил их вслед за первым.

Дождь полил сильнее. Инспектор в каком-то лихорадочном состоянии смотрел на оживленную площадь, на сновавшие над тротуарами разноцветные зонтики и тормозившие на мокрой мостовой автомобили. Из пелены дождя в вечернее небо поднимался приглушенный гул,

казавшийся ему ропотом налогоплательщиков, замученных бременем непосильных налогов. В толпе прохожих он вдруг заметил бегущего человека в пальто с поднятым воротником и узнал кондитера Планшона, которому только что было отправлено уведомление. В порыве сочувствия инспектор тоже побежал и вслед за Планшоном вошел в кафе «Центральное». В большом зале за столиками сидели человек двадцать: одни играли в карты, другие просто болтали. Инспектор сел рядом с кондитером и подчеркнуто горячо пожал ему руку; тот, похоже, не понял этого дружеского жеста, рассеянно и даже равнодушно поздоровался и, отвернувшись, уставился на соседний столик, где играли в пикет. Рядом с игроками сидел примерный налогоплательщик г-н Ребюффо и тоже следил за ходом партии, покуривая трубку. При виде этого человека с безупречной репутацией инспектор проникся еще большим сочувствием ко всем горожанам, которым не давала покоя налоговая инспекция. Он наклонился к Планшону и прошептал ему на ухо:

— Я видел, как вы вошли в кафе. Я бежал за вами. Хотел вас предупредить, что вам отправлено официальное уведомление. Поймите, я был вынужден... Только не принимайте это близко к сердцу...

Планшон был явно раздосадован. Переважив услышанную новость, он громко сказал:

— Ах вот как, вы послали мне уведомление?

— А что поделаешь? Порядок есть порядок, а я человек подневольный. Поверьте, никакой радости мне это не доставляет. — И скромно добавил: — Я вдвойне подневольный: ведь я тоже налогоплательщик.

Но Планшон вовсе не желал брататься с налоговым инспектором. Он, конечно, не сомневался, что инспектор платит налоги, но, наверное, воображал, что его положение дает какие-то льготы. Кондитер снова повернулся к соседнему столику и с горечью произнес:

— Вот радость-то! Завтра я получу уведомление от налогового инспектора.

Интерес к партии в пикет тут же угас. Игроки с опаской покосились на Готье-Ленуара, один них спросил:

— Верно, и я скоро получу?

Молчание инспектора подтвердило его предположение. Игрок досадливо поморщился:

— Ничего не поделаешь. Переживу как-нибудь.

Впрочем, непохоже было, что ему так уж трудно это пережить. Да и Планшон был не из тех, кто портит себе кровь из-за какого-то уведомления, но оба почувствовали, что атмосфера сгущается, и, недолго думая, заняли оборонительную позицию. Посетители, сидевшие за соседними столиками, включились в разговор, все стали отпускать едкие замечания по адресу налоговой администрации, не задевая, однако, лично инспектора, так что бедняга не мог даже слова сказать в свое оправдание. Враждебность к нему окружающих выражалась лишь намеками, впрочем, по-другому и быть не могло. Он был служащим налогового управления, а значит, заодно с администрацией, и, пожалуй, лишь осторожность не позволяла людям бросить ему в лицо это обвинение.

Инспектор и не пытался ничего сказать в свое оправдание — он был оскорблен до глубины души этой вопиющей несправедливостью. Ведь ему хотелось поделиться с этими враждебно настроенными людьми своими тревогами простого налогоплательщика, чтобы их объединил общий протест, или, по крайней мере, недовольство бюрократической машиной, но положение не позволяло ему высказаться. Г-н Ребюффо, откинувшись на спинку стула, посасывал трубочку и молча прислушивался к нараставшему ропоту. В глазах его вспыхивали насмешливые искорки, и он все время пытался поймать взгляд инспектора, ища в нем единомышленника и готовясь к совместному отпору. Но тот даже не смотрел в его сторону и потому не замечал знаков дружеского расположения, которые подавал ему г-н Ребюффо.

И г-н Ребюффо не выдержал. Очередное замечание Планшона о полной неразберихе в стране показалось ему особенно рискованным, и он решил наконец вмешаться. Дружелюбно улыбнувшись инспектору, домовладелец заговорил обстоятельно и неторопливо. Он убедительно объяснил, что налогообложение — это жизненная необходимость для всей нации и что если некоторые несознательные граждане пытаются уклониться от уплаты налогов, то делают они это только себе во вред. Потом он заверил, выразительно посмотрев на Планшона, что, к примеру, торговля кондитерскими изделиями процветает исключительно благодаря строгому налогообложению, ведь не располагай государство средствами на содержание церквей, все они давно разрушились бы, а если бы добрые христиане лишились возможности ходить к мессе, как могли бы они покупать торты и пирожные, выходя из церкви по воскресеньям? И г-н Ребюффо закончил свою речь похвалой в адрес скромных тружеников, которые так усердно взимают налоги и обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность нашего общества. Тут он улыбнулся еще шире, подмигнул инспектору и снова закурил трубку. Готье-Ленуар густо покраснел, лоб его покрылся капельками пота. От сочувствия и поддержки г-на Ребюффо сердце его исполнилось горечи. Он хотел решительно возразить, но осекся: профессиональный долг не позволил ему спорить с примернейшим из налогоплательщиков и опровергать его столь разумные доводы.

Посетители слушали г-на Ребюффо внимательно и с почтением. Он занимал видное положение в обществе, пользовался всеобщим уважением — это придавало вес его словам, и, хотя каждый остался при своем мнении, возразить никто не решился. Наступила примиряющая пауза, все как будто успокоилось, а Планшон, желая показать, что г-н Ребюффо не зря сотрясал воздух, любезно предложил инспектору что-нибудь выпить. Тот неуклюже отказался, что-то смущенно пробормотал на прощание и удалился, ссутулившись, ибо чувствовал спиной удивленные, беззлобно-насмешливые взгляды.

Инспектор пересек площадь Борнебеля, где еще попадались прохожие с зонтиками, и свернул на совсем пустынную улицу. Не обращая внимания на дождь, он вновь переживал в мельчайших подробностях все происшедшее в «Центральном». Он понимал, что личная неприязнь, которую он испытывал к г-ну Ребюффо, еще не объясняет вспыхнувшую в нем ярость против этого человека. Несомненно, существовали причины иного порядка, но почтение к своей должности помешало инспектору углубиться в их анализ. Если он докопается до этих причин, казалось ему, то окончательно лишится покоя, и он попытается больше об этом не думать. Чтобы отвлечься, он углубился в мысли о домашних заботах, но, как выяснилось, просто подошел к той же проблеме с другой стороны. Задумавшись о своих денежных затруднениях, он вспомнил о листке, опущенном в почтовый ящик: завтра утром он получит уведомление. Угроза надвигалась неотвратимо, но ситуация была не лишена юмора: инспектор как будто сам себе готовил сюрприз. Ведь он мог бы не опускать уведомление в почтовый ящик, а просто сунуть в карман и считать, что получил его. Но ему захотелось дать себе видимость отсрочки хотя бы на одну ночь. И теперь, идя по темным переулкам, он ловил себя на мысли: а вдруг письмо задержится на почте? — как будто это могло что-нибудь изменить.

И вот, размышляя об этом, он вдруг понял причину того яростного, невысказанного протеста, который вызвало в нем поведение г-на Ребюффо. Этот счастливец, всегда такой пунктуальный, не откладывал уплату налогов ни на день, ни на час, а значит, никогда не преподносил себе подобных сюрпризов. Расплачиваясь почти всегда без промедления, он избегал риска, которому подвергаются все налогоплательщики, на время выбрасывая из головы необходимость уплаты налогов. В сознании инспектора понятие долга — долга налогоплательщика в том числе — было неразрывно связано с такими состояниями, как искушение, мучительные сомнения, колебания. Администрация не требует немедленной уплаты



налогов, стало быть, налогоплательщику предоставляется некий льготный срок: он волен располагать своей наличностью на время, в течение которого может наделать глупостей, истратить предназначавшиеся для уплаты налога деньги на дурные дела, но может также преодолеть все искушения и с честью выполнить свой долг перед государством. А г-н Ребюффо уклонялся от того, что обязан делать каждый налогоплательщик, выполняя, таким образом, лишь самую ничтожную, самую необременительную часть долга. «Свинья, — пробормотал инспектор, — я таки знал. Я всегда подозревал, что этот тип пренебрегает своим долгом». Тем временем он вышел из темного переулка и уже видел впереди электрический фонарь на бульваре Вильсона (Вильсон, Вудро, род. в 1856 г. в Стэнтоне, штат Виргиния. Кандидат на пост президента США от демократической партии, был избран дважды: в 1912 и 1916 гг. Автор «Четырнадцати пунктов»<sup>[2]</sup>. Ум. в 1924 г. в Вашингтоне), освещающий маленький кирпичный домик, в котором он жил.

На следующее утро, когда г-н Готье-Ленуар и его жена завтракали, почтальон принес уведомление. Инспектор прочел его и произнес без всякого выражения:

— Я получил уведомление. До первого ноября надо заплатить налоги.

— Уведомление? — удивилась жена. — Кто же его прислал?

— Налоговый инспектор... в этом году я не заплатил вовремя...

— Как? Ты посылаешь уведомление сам себе? Что за бред!

— Почему я не могу послать себе уведомление? Ты что, думаешь, я воспользуюсь своим положением и предоставлю себе льготы? Я такой же налогоплательщик, как и все. — Г-н Готье-Ленуар гордо вскинул голову и повторил: — Да, как и все.

Жена пожалала плечами. У нее мелькнула догадка, что муж отправил уведомление по почте, чтобы призвать ее к экономии и бережливости. Она приготовилась выслушать нотацию, но пауза затянулась, тогда ей стало жаль мужа, и она сказала:

— Я много потратила на платья, слишком много. Прости, пожалуйста.

— Нет, что ты! — воскликнул инспектор. — Женщина должна красиво одеваться. Ты не купила ничего лишнего.

Г-жа Готье-Ленуар печально вздохнула; муж, тронутый ее раскаянием, нежно поцеловал ее и отправился на работу. Оставшись одна, она принялась лихорадочно укладывать вещи — те, что не успела упаковать накануне вечером, — а в десять часов взобралась на подоконник; окно выходило на бульвар Вильсона. Когда молодой лейтенант, проезжая верхом по бульвару, поравнялся с ее домом, она с чемоданом в одной руке и шляпной картонкой в другой спрыгнула к нему прямо в седло, и, дружно пришпорив коня, парочка ускакала в далекий гарнизон на востоке страны; с тех пор в Нанжикуре никто больше не слышал о г-же Готье-Ленуар. Инспектор, вернувшись домой в полдень, узнал о случившемся из записки следующего содержания: «Я уезжаю навсегда с тем, кого люблю всем сердцем».

Он долго плакал в тот день, и на другой день, и на третий тоже, потерял сон и аппетит, худел на глазах, наконец, совсем обессилел и слегка повредился в уме. Он почему-то решил, что его жену конфисковала налоговая полиция, и возмущался тем, что арест на его движимое имущество был наложен без предварительного уведомления. Одно за другим он отправил самому себе как представителю налоговой инспекции несколько ходатайств и получил официальные письма, написанные его же рукой, в которых говорилось, что жалоба будет рассмотрена в соответствующей инстанции. Неудовлетворенный этими уклончивыми ответами, он решил пойти на прием к самому себе в налоговую инспекцию. И вот однажды утром инспектор явился туда незадолго до девяти часов и направился в свой маленький кабинет, где он обычно принимал налогоплательщиков, приходивших просить отсрочки. Держа в руке шляпу,

он опустил на стул для посетителей перед столом инспектора и заговорил, обращаясь к полированному креслу, стоявшему по другую сторону стола:

— Господин инспектор! Я направил вам три жалобы по поводу конфискации у меня жены в октябре текущего года. Ознакомившись с вашими ответами, я пришел к выводу, что для внесения в дело полной ясности мне необходимо поговорить с вами лично. Заметьте, господин инспектор, что по существу вопроса у меня нет возражений. Бесспорно, налоговая полиция вправе изъять у меня жену. Я хочу это подчеркнуть, господин инспектор. Я далек от мысли осуждать или критиковать действия руководства. Разумеется, я всегда любил жену и сейчас еще нежно люблю ее, но мне и в голову бы не пришло уклониться от нового требования налогового законодательства. Ее решение для меня закон, я никогда не позволил бы себе усомниться в его правомерности. А то ведь если налогоплательщики сейчас откажутся внести в казну своих жен, то завтра вообще перестанут платить налоги, и представляете, куда это нас приведет? Нет, повторяю, в этом деле меня шокирует не форма налога, откровенно говоря, несколько необычная, а пренебрежение установленными правилами. Да, господин инспектор, вы не выполнили ваших прямых обязанностей: ведь я не получил ни уведомления, ни повторных предупреждений о том, что мне надлежит внести мою жену в кассу налоговой инспекции, не было также ордера на конфискации. Мало того что здесь задета честь налогоплательщика, оскорблены и мои личные чувства. Ведь, если бы были соблюдены законные сроки, предусмотренные уведомлением, я мог бы располагать женой еще несколько недель. Но, повторяю, уведомления я не получал. Это вопиющее нарушение. Поэтому смею надеяться, господин инспектор, что я вправе требовать компенсации.

Тут г-н Готье-Ленуар встал, положил шляпу на стул и, обойдя стол, сел в свое кресло. После короткой паузы он заговорил примирительным тоном:

— Я не отрицаю, дорогой господин Готье-Ленуар, что в вашем деле были допущены известные нарушения. По недосмотру или умышленно? Только тщательное расследование может дать нам ответ. И вы, конечно, вправе настаивать на расследовании, однако я убедительно прошу вас этого не делать. Подумайте, ведь оно чревато серьезными осложнениями, которые могут сильно подорвать престиж налоговой полиции. Левые газеты, всегда готовые раздуть скандал, не преминут ухватиться за это дело — о нет, господин Готье-Ленуар, такого вы, как человек преданный и надежный, не допустите. К тому же что вы от этого выиграете? Да, вы, несомненно, вправе требовать, чтобы вам вернули жену на месяц-полтора. Но разве вы не знаете, как долго тянется рассмотрение подобных исков? Пройдут годы, лет десять, а то и больше. Ваша супруга вернется к вам — и, не забывайте, всего лишь на несколько недель — морщинистой, беззубой старухой, с дряблой кожей и поредевшими волосами. Не лучше ли сохранить ее в памяти молодой и очаровательной? Сами посудите... А потом, вы же чиновник, черт возьми, вы должны служить примером для всех налогоплательщиков. Кстати, должен вам сказать, что изложенные в вашем последнем письме замечания по поводу допущенного налоговой инспекцией неравенства требований к господину Ребюффо и к вам лично, на мой взгляд, совершенно справедливы. В самом деле, господин Ребюффо крайне недобросовестно выполняет свой долг налогоплательщика. Благодарю вас, что обратили на это мое внимание, я предполагаю в ближайшее время навести порядок в этом вопросе.

Инспектор встал с кресла, взял со стула шляпу и повесил ее на вешалку у двери. Прием был окончен.

А на следующее утро в налоговое управление явился г-н Ребюффо. Он держал в руках какой-то бланк и казался сильно взволнованным. Инспектор встретил его любезнее, чем обычно, и с улыбкой осведомился:

— Чему обязан?

— Я не верю своим глазам! — воскликнул г-н Ребюффо, протягивая ему бумагу. — Здесь написано, что я должен внести мою жену в кассу налогового управления не позднее пятнадцатого ноября сего, тысяча девятьсот тридцать восьмого, года. Вероятно, это какое-то недоразумение...

— Ну-ну, успокойтесь. Это первое уведомление, не так ли? Или может быть, повторное предупреждение?

— Да нет. Это первое уведомление.

— В таком случае документация в порядке, — сказал инспектор, лучезарно улыбаясь.

Г-н Ребюффо совсем растерялся. Глаза у него полезли на лоб от удивления, и он с трудом пробормотал:

— Неслыханно!.. Отобрать у меня жену... вы не имеете права...

— Что поделаешь! Таков новый пункт налогового законодательства. О, я вас хорошо понимаю. Это тяжело. Это очень тяжело.

— Просто в голове не укладывается, — произнес г-н Ребюффо. — Отнять у меня жену! Почему именно у меня?

— К сожалению, вы не один должны принести такую жертву. Многие мужья получили сегодня такое же уведомление. Да я и сам уже отдал жену. Это очень, очень тяжело. Но ничего не попишешь. Мы живем в жестокий век.

— Но я всегда так исправно платил налоги... — возразил г-н Ребюффо.

— Вот именно! Зная вашу пунктуальность, налоговая инспекция без колебаний внесла вас в списки одним из первых. Но если позволите, я дам вам совет: на сей раз не спешите. Воспользуйтесь предоставленной вам по закону отсрочкой.

Г-н Ребюффо покачал головой и задумался. Нововведение уже не казалось ему таким нелепым, как поначалу. Личный пример инспектора, его заверения в том, что и другие налогоплательщики подверглись такому же испытанию, почти примирили его с мыслью, что нужно отдать государству жену. От сознания собственной самоотверженности и величия приносимой жертвы он даже растрогался и почувствовал себя чуть ли не героем. Впрочем, если быть честным, то надо сказать, что г-жа Ребюффо была женщиной угрюмого нрава и никогда не отличалась красотой. Г-ну Ребюффо, хотя он сам себе в этом не признавался, не так уж тяжело было расстаться с ней. Пожимая инспектору на прощание руку, он вздохнул, впрочем несколько нарочито.

— Мужайтесь, — сказал инспектор.

— Постараюсь, — ответил г-н Ребюффо и вышел.

Возвращаясь домой по улице Лефина (Лефина, Юбер, род. в 1860 г. в Нанжикуре. Прославился благотворительными делами. Пожертвовал городской больнице средства на содержание трех коек; завещал родному городу часть своих владений — ныне это Прибрежный бульвар, где воздвигнут памятник Л. Ум. в 1923 г. в Нанжикуре), г-н Ребюффо не без любопытства рассуждал о том, какова же будет реакция налогоплательщиков, ставших жертвами нового закона. Он прошелся по городу, но не заметил ничего необычного. Под вечер в «Центральном» собралось с полдюжины мужей, получивших уведомления, и г-н Ребюффо, конечно, услышал горькие жалобы на свирепость налоговой полиции. Но общий настрой был каким-то вялым. Мужчины скорее сетовали, чем роптали. В этот вечер все пили больше, чем обычно, и, когда настало время ужина, многие были совсем пьяны. Кондитер Планшон, год назад овдовевший, подстрекал налогоплательщиков взбунтоваться, но тщетно. «Неужели вы так и отдадите жену?» — спросил он г-на Пти, хозяина скобяной лавки. «Раз надо, значит, надо», — ответил Пти. И другие мужья повторили за ним: «Раз надо, значит, надо».

Утром 15 ноября около тридцати супружеских пар стояли перед дверью налоговой

инспекции; каждый налогоплательщик вел под руку жену, которую надлежало сдать в кассу. На всех лицах была написана скорбная покорность судьбе. Супруги молчали, лишь изредка вполголоса обменивались последними напутствиями. А налоговый инспектор тем временем уже приступил к оприходованию жен. Его кабинет был разделен невысокой перегородкой. Помогавший инспектору писарь заносил в толстую книгу сведения о поступившей в казну жене и выписывал квитанцию. Инспектор провожал жену за перегородку, отдавал квитанцию ее супругу и говорил каждому на прощание несколько теплых, сочувственных слов. Женщины, ставшие собственностью государства, молча теснились за перегородкой, куда посторонним вход был запрещен, и смотрели, как в кабинете появляются все новые и новые налогоплательщики, чьи жены должны были пополнить их невеселую компанию.

Часов в одиннадцать перед зданием налоговой инспекции собралась такая толпа, что остановилось уличное движение. По воле случая именно в этот день министр налогообложения в сопровождении начальника канцелярии своего министерства оказался в Нанжикуре проездом в избирательный округ, от которого баллотировался. Удивленный необычным скоплением народа у дверей управления, он вышел из машины и любопытствовал, что здесь происходит.

Налоговый инспектор встретил министра и начальника канцелярии без тени смущения. Он лишь извинился за то, что приходится принимать столь важных гостей в такой тесноте (кабинет был набит налогоплательщиками), и добавил, улыбаясь:

— Но я не смею об этом сожалеть. Значит, налог поступает исправно. Взгляните, господин министр, я уже оприходовал двадцать пять жен.

Министр и начальник канцелярии недоуменно переглянулись. В ответ на их вопросы инспектор охотно дал разъяснения. Выслушав его, помощник наклонился к министру и прошептал:

— Да он просто сумасшедший!

— Хе-хе! — произнес министр налогообложения. — Хе-хе!

Он с интересом уставился на группу оприходованных женщин и, разглядывая самых хороших, подумал, что для государства открылся новый источник доходов, и, быть может, немалых. Он также обратил внимание на то, что многие жены, в силу непостижимой женской логики, явились к инспектору, надев свои лучшие драгоценности. Министр глубоко задумался. Не желая мешать своему шефу и понимая ход его мыслей, помощник молча смотрел на супружеские пары, которые терпеливо дожидались отъезда высоких гостей, чтобы пройти к столу инспектора.

— Эти славные люди на редкость дисциплинированы, — заметил он.

— Действительно, — пробормотал министр. — Меня это даже удивляет.

И они обменялись многозначительным взглядом. Затем министр тепло пожал руку налоговому инспектору, еще раз оглянулся на оприходованных жен и вернулся к машине.

А через день после этих памятных событий г-н Готье-Ленуар получил повышение: его сделали налоговым инспектором первого класса. Министр налогообложения в своих выступлениях намекал на какой-то грандиозный проект, который должен был полностью обновить всю налоговую систему. Но тут началась война.

*Перевод Н. Хотинской*

Лучшим христианином улицы Габриэль, да и всего Монмартра, в 1939 году слыл некий господин Дюперье, человек до того набожный, праведный и милосердный, что Господь не стал дожидаться его кончины, и Дюперье в расцвете лет был увенчан нимбом, не гаснувшим ни днем, ни ночью. Бесплотный диск из той же материи, из какой выкроены нимбы святых в раю, с виду походил на картонную тарелку и испускал слабый белесый свет. Бесконечно признательный господин Дюперье носил его и неустанно благодарил небо за награду, которую из скромности все же не решался считать заранее выданным пропуском в райские кущи. Он, несомненно, стал бы счастливейшим из смертных, да только жена его, не безразличная к такой исключительной милости, не скрывала злобы и досады.

— Ну на что это похоже? — говорила она. — Ты только подумай, что скажут соседи, лавочники и мой кузен Леопольд! Есть чем гордиться! Просто курам на смех. Увидишь, как нам теперь станут перемывать косточки.

Госпожа Дюперье была превосходной женщиной, на редкость благочестивой и строгих правил, но ей еще не открылась тщета всего земного. Как и у многих других, непоследовательность губила ее лучшие намерения, и она больше старалась угодить своей консьержке, чем своему Создателю. Она так боялась, не станут ли сосед по площадке или молочница расспрашивать о нимбе, что с первых же дней характер ее начал портиться. Несколько раз она пыталась сорвать с головы супруга светящийся кружок, но с таким же успехом она могла ловить руками солнечный луч — тарелка не шелохнулась. Нимб все так же сидел чуть набекрень, игриво сдвинувшись к правому уху, охватывая лоб у самых корней волос и довольно низко опускаясь на затылок.

Предвкушение вечного блаженства не мешало Дюперье должным образом печься о покое жены, да и сам он слишком ценил скромность и простоту, чтобы не признать законности ее опасений. Люди не всегда относятся с подобающим уважением к Божьим дарам, особенно к тем, от которых не видят проку, а зачастую считают их бесовским соблазном. Дюперье, как мог, старался держаться незаметно. Скрепя сердце он отказался от котелка, любимого головного убора бухгалтеров, и заменил его светлой широкополой шляпой, которая полностью закрывала нимб, если непринужденно сдвинуть ее назад. Таким образом он не бросался в глаза прохожим. Слабое мерцание полей головного убора при дневном свете могло сойти за блеск шелковистого фетра. Дюперье и на работе удавалось не привлекать внимания сослуживцев и директора. На маленькой обувной фабрике в Менильмонтане, где он служил бухгалтером, у него была застекленная клетушка между двумя цехами; он сидел там один, огражденный от нескромных расспросов. Никто не любопытствовал, отчего это он с утра до вечера не снимает шляпу.

Все эти меры не успокоили его супругу. Ей казалось, что соседские кумушки уже вовсю судачат о нимбе Дюперье. Она едва решалась высунуть нос на улицу, ее томили дурные предчувствия, болезненно щемило сердце, и поджимались ягодицы. В глазах порядочной женщины, и не мечтавшей забраться выше той ступеньки общества, где чтут золотую середину, этот знак отличия превращался в нелепое и оттого особенно отвратительное клеймо. Она наотрез отказывалась выходить из дому вместе с мужем. Прежде они вечерами и по воскресеньям гуляли и встречались с друзьями, теперь же проводили это время вдвоем, в уединении, с каждым днем становившемся все тягостнее. В столовой светлого дуба, где протекали долгие часы досуга между обедом и ужином, госпожа Дюперье, уронив на колени вязанье, горестно взирала на нимб. Дюперье, погруженный в душеспасительное чтение, порой чувствовал словно прикосновение ангельского крыла, и на его лице расцветала блаженная

улыбка, которая просто бесила его жену. Изредка он все же обращал к ней участливый взгляд, и горевший в ее глазах огонек злобного недовольства пробуждал в нем угрызения совести; они мешали ему испытывать к небесам надлежащую благодарность, и оттого ему было совестно вдвойне.

Конца этим мучениям не предвиделось, и бедняжка потеряла покой. Вскоре она стала жаловаться, что по ночам не смыкает глаз из-за отблесков нимба на подушках. Дюперье, которому случалось читать Евангелие при этом божественном свете, должен был признать, что ее сетования обоснованны, и начал чувствовать себя кругом виноватым. Наконец события, чреватые весьма прискорбными последствиями, довели это положение до острого кризиса.

Однажды Дюперье шел на работу и в нескольких шагах от своего дома встретил похоронную процессию. Обычно он, подавляя голос своей врожденной учтивости, в знак приветствия лишь слегка прикасался к полям шляпы, но перед лицом смерти, поразмыслив, счел невозможным уклониться от обязанности обнажить голову. Несколько торговцев, скучавших у порога своих лавок, при виде нимба протерли глаза и собрались в кружок, чтобы обсудить природу этого явления. Как раз в это время госпожа Дюперье отправилась за покупками. Ее забросали вопросами, и, донельзя смущенная, она с таким жаром стала отрицать очевидное, что всем это показалось странным. Вернувшись к обеду домой, муж застал ее в неопишемом возбуждении, он даже обеспокоился за ее рассудок.

— Убери этот нимб! — вопила она. — Сними его сейчас же! Чтобы я его больше не видела!

Как ни убеждал ее Дюперье, что избавиться от нимба не в его силах, в ответ распаленная супруга завопила:

— Если бы ты считался со мной хоть вот столечко, то нашел бы способ его содрать, но ты думаешь только о себе!

Он благоразумно промолчал, но призадумался над ее словами. А на следующее утро дело зашло еще дальше. Дюперье и прежде никогда не пропускал первой утренней мессы, а с тех пор, как сподобился, отправлялся слушать ее в Сакре-Кёр. Шляпу ему, конечно, там приходилось снимать, но в этот ранний час прихожан в просторном храме было негусто, и он мог укрыться за колонной. Вероятно, в то утро он утратил осторожность. Когда после службы он направился к выходу, какая-то старушка упала перед ним на колени, восклицая: «Святой Иосиф! Святой Иосиф!» — и целуя край его пальто. Дюперье поспешил скрыться, польщенный, но и несколько раздосадованный: он узнал в пылкой поклоннице свою соседку, старую деву. Несколько часов спустя сие благочестивое создание ворвалось к госпоже Дюперье с воплем: «Святой Иосиф! Пустите меня к святому Иосифу!»

Святой Иосиф — хотя и не самый видный и блестящий, но все же превосходный святой, однако его скромные добродетели ремесленника и кротость, похоже, повредили ему в общественном мнении. В самом деле, многие люди, даже из самых благочестивых, сами того не сознавая, усматривают в истории непорочного зачатия какое-то простодушное попустительство. Это представление о нем, как о глуповатом добряке, усугубляется обыкновением путать святого с другим Иосифом — тем, что бежал от домогательств жены Потифара. Госпожа Дюперье и прежде не слишком гордилась святостью мужа, но пылкая поклонница, громогласно величавшая его святым Иосифом, казалось, явилась выставить ее на посмешище. Вне себя от ярости она отлупила старушку зонтиком, вышвырнула ее за дверь, а потом переколотила кучу тарелок. Еле дотерпев до возвращения мужа, она первым делом закатила истерику, а когда успокоилась, жестко заявила:

— В последний раз прошу тебя избавиться от нимба. Ты ведь можешь это сделать. Сам знаешь, что можешь.

Муж опустил голову, не решаясь спросить, как, по ее мнению, он должен действовать, но

она продолжила:

— Это очень просто. Ты должен всего-навсего согрешить.

Дюперье не стал с ней спорить и, удалившись в спальню, принялся молиться. Говорил он примерно так: «Господи, Ты дал мне высшую — не считая мученического венца — награду, о какой может мечтать человек в земной жизни. Спасибо Тебе, Господи, но я женат и делю с женой хлеб испытаний, которые Ты мне ниспосылаешь, как и мед Твоих милостей. Только так супружеская чета может следовать прямым путем, предначертанным Тобою. А моя жена видеть не может нимба, ей самая мысль о нем противна, и вовсе не потому, что это дар небесный, но просто потому, что он — нимб. Ты ведь знаешь женщин. Если из ряда вон выходящее событие не перевернет им всю душу, их жалкие умишки ни за что не поймут его. С этим ничего не поделаешь, и, проживи моя жена еще сто лет, в ее мире не найдется местечка для моего нимба. Боже, Ты читаешь в моем сердце и знаешь, как далек я от забот о собственном покое и о теплых тапочках. Ради счастья носить на лбу печать Твоего благоволения я готов безропотно вытерпеть самые бурные домашние сцены. К несчастью, речь идет не о моем спокойствии. Моя жена перестала радоваться жизни. Хуже того — я предвижу: настанет день, когда из ненависти к моему нимбу она проклянет имя Того, кто дал его мне. Неужели я буду безучастно смотреть, как гибнет и губит свою душу та, кого Ты избрал мне в супруги? Я стою на перепутье, и истинный путь не кажется мне путем милосердия. Пусть же Твоя бесконечная справедливость вложит ответ в уста моей совести — вот смиренная мольба, которую я в час сомнения слагаю к Твоим сияющим стопам, о Господь мой».

Едва он успел договорить, как внутренний голос высказался в пользу греховного пути, указав, что ему надлежит исполнить христианский долг. Дюперье вернулся в столовую, где, скрежеща зубами, его ждала супруга.

— Бог справедлив, — изрек Дюперье, сунув большие пальцы в проймы жилета. — Он знал, что делает, когда дарил мне этот нимб. Я в самом деле заслуживаю его больше других. Ни один человек не может со мной сравниться. Стоит мне подумать о низостях человеческого стада и о тех совершенствах, средоточием коих являюсь я сам, мне хочется плевать в лицо прохожим. Бог, конечно, меня наградил, но если бы церковь имела хоть крупицу понятия о справедливости, разве не был бы я, по меньшей мере, архиепископом?

Дюперье избрал грех гордыни — это позволяло ему, восхваляя собственные заслуги, славить наградившего его Господа. Жена быстро смекнула, что он решительно вступил на стезю греха, и смело включилась в игру.

— Дорогой мой, — ответила она, — как я тобой горжусь! Мой кузен Леопольд с его автомобилем и виллой в Везине в подметки тебе не годится.

— И я так считаю. Если бы я захотел, мог бы преуспеть не хуже любого другого и обставить Леопольда, но я избрал иной путь и достиг иных высот, чем твой кузен. Я презираю его деньги, как и его самого, и всех бесчисленных глупцов, которым никогда не уразуметь величия моей скромной жизни. Ибо они, имея глаза, меня не видят.

Сказанные через силу слова, истерзавшие раскаянием сердце Дюперье, через несколько дней стали высказывать с легкостью, вошли в привычку и уже не стоили Дюперье ни малейшего усилия. И так велика власть слов над разумом, что в конце концов Дюперье стал принимать свои высказывания за чистую монету. В его гордыне уже не было ничего наигранного, и он сделался несносным для окружающих. Между тем жена с тревогой присматривалась к сиянию нимба и, видя, что он не тускнеет, нашла мужний грех каким-то несерьезным. Дюперье тут же согласился с ней.

— Ты совершенно права, — сказал он. — Я вовсе не впал в гордыню, но всего лишь высказал простейшую и очевидную истину. Когда достигаешь, подобно мне, высшей степени

совершенства, слово «гордыня» утрачивает всякий смысл.

Продолжая тем не менее похвалиться своими заслугами, он признал необходимость изведать еще какой-нибудь грех. Дюперье решил, что чревоугодие лучше прочих смертных грехов поможет исполнить его намерение — избавиться от нимба, не слишком испортив отношения с небесами. Представление о чревоугодии питалось воспоминаниями о том, как мягко журили его в детстве, когда он обедался вареньями или шоколадом. Исполненная надежды супруга принялась готовить для него изысканные блюда, от разнообразия казавшиеся еще вкуснее. На столе сменяли друг друга пулярки, запеченные паштеты, форель в красном вине, омары, салаты, сласти, фигурные торты и дорогие вина. Трапезы тянулись вдвое, если не втрое дольше прежнего. Страшно и противно было смотреть на повязанного салфеткой Дюперье, красного, с осоловевшими глазами, жующего, чавкающего, хлюпающего, истекающего соусом и перемазанного кремом, заталкивающего в глотку мясо и колбасу, запивая их кларетом, и рыгающего из-под своего нимба. Вскоре он пристрастился к изысканной и обильной пище. Часто ему случалось выговаривать жене за пережаренную баранью ногу или плохо сбитый майонез. Как-то вечером, раздосадованная его брюзжанием, она сухо заметила:

— Твой нимб в полном порядке, по-моему, он тоже разжирел от моей стряпни. В общем, я вижу, чревоугодие вовсе не грех. Его единственный недостаток в том, что оно дорого обходится, так почему бы не посадить тебя снова на овощной супчик и макароны?

— Отвяжешься ты от меня или нет? — зарычал Дюперье. — На овощной супчик и макароны? Еще чего! Мне лучше знать, что делать! Макароны! Нет, ну надо же, какая наглость! Вот чем платят женщины за то, что ради них погрязаешь в грехе. Молчать! Смотри, ты у меня дождешься!

Один грех влечет за собой другой, и ущемленное чревоугодие вкупе с гордыней порождает гнев. Дюперье впал в этот новый грех, уже не зная точно, старается ли он ради жены или уступает природной склонности. Этот человек, до сих пор славившийся своей мягкостью и обходительностью, то и дело раздражался криками, бил посуду, а иногда и поколачивал жену. Ему случалось даже богохульствовать. Все более частые гневные припадки не мешали ему оставаться гордецом и чревоугодником. Он грешил теперь по трем статьям, и у госпожи Дюперье возникали довольно мрачные соображения насчет безграничной снисходительности Господа.

И все же в запятнанной грехопадением душе способны процветать прекраснейшие добродетели. Возгордившийся и гневливый чревоугодник Дюперье по-прежнему был исполнен христианского милосердия и хранил возвышенное представление о своем человеческом и супружеском долге. Увидев, что небо глухо к его припадкам гнева, он решил сделаться завистником. Правду сказать, зависть незаметно для него уже угнездилась в его душе. Обильная пища раздражает печень, гордыня обостряет чувство несправедливости, и в результате даже лучший из людей начинает завидовать ближнему. Гнев разжигал зависть Дюперье. Он завидовал родным и друзьям, начальству, лавочникам и даже знаменитым спортсменам и кинозвездам, чьи портреты видел в газетах. Любая мелочь портила ему настроение, и иногда его просто трясло от злобы при мысли о том, что у соседа ножи с серебряными ручками, а у него самого всего-навсего с роговыми. Однако нимб сиял по-прежнему. Дюперье не удивлялся этому, решив, что на самом деле он не грешил: он убедительно доказывал, что его так называемое чревоугодие — это всего-навсего здоровый аппетит, а гнев и зависть — лишь проявления обостренного чувства справедливости. Наиболее убедительным аргументом оставался нимб.

— Я все же считала небо более щепетильным, — говорила порой его жена. — Если твое обжорство и спесь, твоя грубость и низость не заставляют нимб потускнеть, уж мне-то местечко



в раю наверняка обеспечено.

— Заткнись! — гневно обрывал ее муж. — Когда только ты перестанешь зудеть? Мне это осточертело. Тебя забавляет, что такой святой человек, как я, вынужден ради спокойствия жены ступить на путь греха? Заткнись, поняла?

В тоне этих отповедей не слышалось мягкости, какой естественно было бы ожидать от человека, увенчанного нимбом. Начав грешить, Дюперье опустил плечи. Его аскетическое лицо стало заплывать жиром. Не только речь, но и самые мысли его отяжелели и огрубели. К примеру, заметно изменилось его представление о рае. Прежде ему виделись сладко поющие души в прозрачных, как целлофановые пакеты, платьицах. Теперь же обитель праведных все явственнее рисовалась ему в виде большой столовой. Госпожа Дюперье конечно же замечала перемены в муже и начала беспокоиться за его будущее, хотя перспектива его падения пока не могла поколебать чашу весов и отвращение ко всему необычному пересиливало страх. Уж лучше муж — безбожник, гуляка и сквернослов, как кузен Леопольд, думала она, чем Дюперье со своим нимбом. Хоть перед молочницей не придется краснеть.

Решения предаться лени Дюперье и принимать не потребовалось. Высокомерное убеждение, что он исполняет в своей конторе совершенно недостойную его работу, а также сонливость, одолевавшая его после сытной еды и обильных возлияний, располагали к праздности. Достаточно самодовольный для того, чтобы притязать на совершенство даже в пороках, он вскоре сделался образцовым бездельником. Наконец хозяин, потеряв терпение, выставил его за дверь. Дюперье выслушал приговор, сняв шляпу.

— Что это у вас на лбу? — спросил хозяин.

— Нимб, сударь.

— Так вот чем вы забавлялись в рабочее время!

Дюперье сообщил жене, что его рассчитали, и она поинтересовалась, чем он намерен заняться.

— Мне кажется, момент самый подходящий для того, чтобы начать грешить скупостью, — весело ответил он.

Из всех смертных грехов именно скупость требовала от него наибольшего усилия воли. Того, кто не рожден скрягой, этот порок увлекает по наклонной плоскости куда медленнее, и если он избран сознательно, то ничем, по крайней мере поначалу, не отличается от явной добродетели, именуемой бережливостью. Дюперье жестко ограничил себя во всем, в том числе и в еде, и вскоре ему удалось прослыть среди соседей и знакомых изрядным скупердям. Он в самом деле полюбил деньги ради денег и сполна познал мучительное и тревожное чувство, охватывающее скупца при мысли о сосредоточенной в его руках созидательной силе, которой он не дает проявиться. Подсчитывая свои сбережения от прежних праведных трудов, он постепенно стал испытывать гнусное удовольствие от того, что ущемлял ближнего, перекрывая ток обмена и заставляя обмелеть ручеек жизни. Это достижение — именно потому, что тяжело далось, — вселило большую надежду в душу госпожи Дюперье. Соблазну прочих грехов ее муж поддавался так легко, что Бог, думала она, не мог всерьез рассердиться на него за бездумное и бесхитростное увлечение, делавшее его довольно жалкой жертвой. Напротив, успехи, достигнутые им в скупости терпением и усердием, непременно требовали усилия порочной воли, казалось бросавшей вызов небу. И все же когда Дюперье дошел до того, что вместо жертвований стал бросать в церковную кружку брючные пуговицы, его нимб не померк и не потускнел. Волей-неволей супругам пришлось признать очередное поражение, и несколько дней они пребывали в растерянности.

Гордец, чревоугодник, гневливец, завистник, лентяй и скупец, Дюперье был по-прежнему чист душой. Шесть привитых им себе грехов, хоть и тяжелых, все же были из тех, в каких не

побойтис​я исповедат​ся первопричастник. Самы​й же тяжкий грех, грех сладострастия, приводил его в трепет. Прочие, как ему казалось, почти не привлекали внимания Господа. Смотри​я по обстоятельствам, их можно было считать грехами или грешками — это вопрос количества. Но предат​ся сладострастию означало безраздельно отдать себя во власть нечистого. Ночной пыл предвосхищал раскаленный мрак преисподней, трепещущие жала были прообразом языков неугасимого адского пламени, и разве не были сладострастные стоны и извивающиеся тела подобны страшным воплям осужденных и корчащейся в вечных муках плоти? Дюперье не приберегал греха сладострастия напоследок, он просто помыслить о нем не смел. Да и госпоже Дюперье думать об этом было тошно. Многие годы супруги провели в блаженном целомудрии и, пока не появился нимб, что ни ночь предавались лишь белоснежным кисейным грезам. Теперь госпожа Дюперье исходила злобой, вспоминая годы воздержания и не сомневаясь, что нимб был за них наградой. Одно только сладострастие могло лишить ореол его лилейной чистоты.

Дюперье долго крепился, но в конце концов поддался на уговоры жены. Чувство Долга, как и прежде, победило его опасения. Когда решение было уже принято, он оказался в некотором затруднении из-за собственного неведения, но жена, все предусмотрев, заранее купила для него отвратительную книгу, где основы сладострастия были изложены в виде ясных и точных указаний. Душераздирающее зрелище представлял собой этот целомудренный человек, когда по вечерам пересказывал супруге очередную главу мерзкого учебника. Часто бедняга запинался на гадком слове или особенно непристойной подробности. Овладев теоретическими знаниями, он еще помедлил, обсуждая вопрос, впасть ли ему в грех сладострастия у домашнего очага или на стороне. Госпожа Дюперье, из соображений экономии, предлагала проделать все под домашним кровом; муж не остался глух к ее доводам, но, взвесив все «за» и «против», благородный супруг счел излишним втягивать жену в пакостные занятия и рисковать спасением ее души и решил принять удар на себя одного.

С тех пор Дюперье почти все ночи проводил в грязных притонах, где продолжал приобщаться к сладострастию при помощи местных проституток. Нимб, который он не мог утаить от взглядов своих недостойных подруг, подчас ставил его в затруднительное положение, но порой приносил и пользу. Первое время, озабоченный тем, чтобы как можно точнее следовать указаниям учебника, Дюперье предавался греху без особого пыла, но методично и прилежно, словно танцовщик, разучивающий сложное движение или фигуру. Это порожденное гордыней стремление к совершенству вскоре было вознаграждено прискорбной известностью среди девиц легкого поведения. Пристрастившись к этим утехам, Дюперье, однако, находил их разорительными, и скупость его была жестоко уязвлена. Как-то вечером на площади Пигаль он свел знакомство с двадцатилетним, но уже погибшим созданием по имени Мари-Жанник. Говорят, то ли о ней сочинил, то ли ей посвятил поэт Морис Фомбер пленительные строки:

Вот Мари-Жанник из Ландивизио  
Комаров разит, сняв с ноги сабо.

За полгода до этой встречи Мари-Жанник приехала из своей родной Бретани, чтобы поступить в услужение к одному муниципальному советнику — социалисту и атеисту, но, не пожелав остаться в доме у безбожника, теперь героически зарабатывала свой хлеб на бульваре Клиши. Нимб не мог не произвести сильнейшего впечатления на эту благочестивую душу. В глазах Мари-Жанник Дюперье стоял где-то между святым Ивом и святым Ронаном. Он, со своей стороны, вскоре осознал, сколь велико его влияние на девушку, и не устоял перед искушением

извлечь из этого выгоду.

Сегодня, 22 февраля 1944 года, во мраке зимы и войны, Мари-Жанник, которой скоро исполнится двадцать пять, как и прежде, прогуливается по бульвару Клиши. Вечером, во время затемнения, прохожие с удивлением разглядывают мерцающее в ночи светлое пятно вроде кольца Сатурна, плывущее от улицы Мучеников к площади Пигаль. Это Дюперье, увенчанный сияющим нимбом, который он уже не старается укрыть от посторонних глаз, Дюперье, отягощенный семью смертными грехами, испив до дна чашу стыда, надзирает за тяжким трудом Мари-Жанник, пинком под зад оживляя ее угасающий пыл, или ждет ее у входа в гостиницу и при свете нимба подсчитывает выручку за любовь. Но из бездны, в которую он пал, сквозь потемки его совести, к его устам пробивается порой благодарность Господу за беспредельную щедрость Его бескорыстных даров.

*Перевод А. Васильковой*

Трех человек — целую семью — убил он ради музыкальной шкатулки: так ему хотелось ее иметь. Велеречивый прокурор Лебеф вполне мог поберечь свой гнев для другого случая, а защитник Бридон и вовсе не выступать. Подсудимого единодушно приговорили к гильотине. Ни в зале заседаний, ни за его стенами не нашлось никого, кто пожалел бы убийцу. Могучие плечи, бычья шея, широкоскулое плоское лицо без лба: челюсти и крохотные тусклые глазки. Да не будь его вина столь очевидной, впечатлительным присяжным хватило бы одной только внешности, чтобы вынести обвинительный приговор. Пока шло разбирательство, Дермюш неподвижно сидел на скамье подсудимых, безразлично и бессмысленно глядя в зал.

— Дермюш, — обратился к нему председатель суда, — вы сожалеете о содеянном?

— Да как сказать, господин председатель, — ответил Дермюш, — вроде да, а может, и нет.

— Поясните свою мысль. Мучают ли вас угрызения совести?

— Вы это о чем, господин председатель?

— Угрызения совести, говорю, у вас бывают? Не понимаете, что это такое? Ну, болит у вас душа, когда вы вспоминаете о жертвах?

— У меня ничего не болит. Здоров я, благодарствую.

За все время, пока шел процесс, Дермюш оживился всего один раз: когда обвинение представило в качестве вещественного доказательства музыкальную шкатулку. Дермюш налег на перила и не сводил с нее глаз, а когда заведенный секретарем суда механизм монотонно заиграл ритурнель, грубые черты преступника осветила нежнейшая улыбка.

До приведения приговора в исполнение его поместили в камеру смертников, где он спокойно дожидался рокового часа. Близость расплаты, похоже, несколько его не пугала. Во всяком случае, с заходившими в камеру тюремщиками он ни о чем таком ни разу не заговорил. Впрочем, он вообще к ним не обращался, только вежливо отвечал на вопросы. Узника занимало одно: он все старался вспомнить тот самый мотив ритурнели, что толкнул его на преступление. У Дермюша вообще с памятью было не очень: как знать, может, оттого он и впал в раздражение, что напев из музыкальной шкатулки никак ему не давался, потому-то и явился тем сентябрьским вечером к рантье из Ножана-сюр-Марн — двум старым девам и их вечно зябнущему дядюшке, кавалеру ордена Почетного легиона. Раз в неделю, по воскресеньям, за обедом, прежде чем приступить к десерту, старшая из сестер заводила музыкальную шкатулку. В теплое время года окно столовой открывалось, и три лета Дермюш блаженствовал. Притаившись у самой стены дома, он упивался воскресной мелодией, а потом всю неделю пытался воспроизвести ее по памяти от начала до конца, впрочем, всегда безуспешно. Но наступала осень, и вечно зябнувший дядюшка не позволял больше открывать окно, так что в холода музыкальная шкатулка играла только для хозяев. Три года Дермюш все долгие холодные месяцы тосковал без музыки, без радости. Постепенно мелодия ритурнели стиралась из его памяти, с каждым днем она ускользала и ускользала, так что к концу зимы от нее оставалось одно сожаление. Когда снова пришла осень, Дермюш не выдержал мысли о новой разлуке и однажды вечером вломился к старикам. Там его на следующее утро и обнаружила полиция: он слушал музыкальную шкатулку, а рядом лежали три трупа.

Почти месяц помнил он песенку наизусть, а накануне суда опять забыл. И вот теперь, в камере смертников, он все старался соединить обрывки вновь услышанной — спасибо обвинению — мелодии, но те с каждым днем становились все менее точными. «Динь-динь-динь», — напевал с утра до ночи приговоренный к смерти.

Навещавший Дермюша тюремный священник неизменно заставлял узника в благодушном

настроении. Жаль только, Божье слово не доходило до сердца несчастного ввиду его явного скудоумия. Говори — не говори, все едино: Дермюш покорно выслушивал духовника, однако односложные ответы, равно как отсутствующее выражение лица свидетельствовали о том, что его нисколько не заботило спасение собственной души, если таковая вообще имелась. Впрочем, однажды, уже в декабре, повествуя смертнику о Пресвятой Деве и ангелах, духовник словно бы заметил проблеск интереса в маленьких тусклых глазках, но очень уж мимолетный: привиделось, решил священник. Однако, когда беседа подошла к концу, Дермюш вдруг спросил: «А что, младенец Иисус и вправду есть?» Капеллан не стал мелочиться. Строго говоря, следовало ответить, что те времена, когда Иисус был младенцем, давно прошли, и поскольку в возрасте тридцати трех лет Он принял смерть на кресте, то говорить о Нем в настоящем времени весьма затруднительно. Однако донести эту мысль до твердолобого Дермюша не представлялось возможным. Зато история о младенчестве Христа была преступнику доступна и могла раскрыть его душу для света Божьей истины. И священник поведал Дермюшу, как Сын Господа выбрал для Своего рождения хлев и явился на свет между волом и ослом.

— И все для того, чтобы показать, что Он с бедняками, что Он пришел в этот мир ради них, понимаете, Дермюш? Он мог бы родиться и в тюрьме, сыном последнего из смертных.

— Понимаю, господин кюре. Вы хотите сказать, что в моей камере младенец Иисус еще бы согласился появиться на свет, а в доме у мелких собственников — никогда.

Священник в ответ лишь неопределенно качнул головой. Логика Дермюша была неуязвима, но он как-то уж слишком сводил все к своему частному случаю — вряд ли подобный вывод приближал его к раскаянию. А потому, сделав сей невнятный жест, духовник снова завел про волхвов, избиение младенцев, бегство в Египет, рассказал, как младенец Иисус, став уже зрелым бородатым мужем, принял мученическую смерть на кресте вместе с двумя разбойниками, дабы открыть людям райские врата.

— Вы только представьте, Дермюш, благоразумный разбойник первым из смертных попал на небеса, и это не случайно — так Господь указал нам, что любой грешник может уповать на Всевышнее милосердие. Даже самое страшное преступление в глазах Господа поправимо...

Но Дермюш уже давно не слушал священника: все эти сказки про благоразумного разбойника, дивный улов, про то, как Господь накормил народ семью хлебами, были для него что темный лес.

— Ну и значит, младенец Иисус вернулся к себе в хлев? — Только младенец Иисус его и волновал.

«Сущее дитя, — подумал священник, выходя из камеры Дермюша. — Сам небось не ведал, что творил. Здоров, как бык, а душа младенческая. И стариков-то он убил не со зла — случается же, что ребенок ломает куклу, отрывает ей руки-ноги. Ребенок он и есть, и больше ничего, — несчастный ребенок, не сознающий своей силы, а его вера в младенца Иисуса — тому доказательство».

И святой отец стал просить Господа сжалиться над неразумным.

Прошло несколько дней, капеллан снова пришел к Дермюшу.

— Неужели поет? — спросил священник тюремщика, открывавшего камеру.

Из-за двери безостановочно долдонил низкий голос Дермюша, словно гудел большой колокол: «Динь-динь-динь».

— Да он целыми днями так: все «динь-динь» да «динь-динь». Кабы хоть складно, а то вообще ни на что не похоже.

Духовника не могла не беспокоить беззаботность приговоренного к смерти, при том что тот еще не уладил свои дела с небесной канцелярией. Дермюш казался оживленной обычной. Свиристое лицо его излучало приветливость и бодрость, в щелочках глаз светилась радость.

Кроме того, он был не в пример разговорчивее, чем раньше.

— Как там на дворе погода, господин кюре?

— Снег идет, сын мой.

— Снег это ничего, снег ему не помеха. Ерунда это, снег-то.

И снова капеллан заговорил о милосердии Господа, сладости покаяния, но поскольку заключенный то и дело перебивал его вопросами о младенце Иисусе, то никакого действия наставления священника не возымели.

— А правда, младенец Иисус знает всех на свете? А в раю все его слушаются, да? А как по-вашему, господин кюре, младенец Иисус любит музыку?

Духовник и слова вставить не успевал. Когда он пошел к двери, узник сунул ему в руку сложенный вчетверо листок.

— Письмо это, младенцу Иисусу, — объяснил он, улыбаясь.

Капеллан взял послание и, выйдя из камеры, прочел:

### *«Дорогой младенец Иисус!»*

Пишу тебе, чтобы кое о чем попросить. Зовут меня Дермюш. Скоро Рождество. Знаю, ты на меня не в обиде за трех старикашек из Ножана. Ты бы и сам ни за что не родился в доме таких гадов. Тут мне уже все без надобности, я скоро сыграю в ящик. А вот когда я попаду в рай, дал бы ты мне музыкальную шкатулку — это и есть моя просьба. Заранее благодарю. Желаю здравствовать,

*Дермюш».*

Духовник пришел в ужас от прочитанного: сомнений не оставалось — ни о каком раскаянии убийца и не помышлял.

«Простодушный он, конечно, и разумения у него не больше, чем у новорожденного, — недаром он, как наивное дитя, верит в младенца Христа. Но когда он предстанет пред Небесным Судом с тремя убийствами на совести и без тени покаяния, то и сам Господь ему не поможет. А между тем душа у него чистая, как родниковая вода».

Вечером священник долго молился за Дермюша в тюремной часовне, а потом положил его письмо в люльку гипсового младенца Иисуса. Двадцать четвертого декабря, в канун Рождества, на рассвете, в камеру смертника явилась группа хорошо одетых господ в сопровождении тюремных надзирателей. С утра не евши и не проспавшись, они вошли и остановились в нескольких шагах от койки, стараясь различить спящего в свете занимающегося дня. Одеядо легонько дрогнуло, и до них чуть слышно донесся жалобный стон. У прокурора Лебефа мурашки побежали по коже. Начальник тюрьмы поправил черный галстук и шагнул вперед. Одернул пиджак, приосанился, выпятил грудь, сложил ладони лодочкой на уровне гульфика и театрально произнес:

— Мужайтесь, Дермюш, ваша просьба о помиловании отклонена.

В ответ снова послышалось жалобное постанывание, громче и явственнее, чем в первый раз, однако Дермюш не шевельнулся. Его совсем не было видно, похоже, он накрылся с головой.

— Хватит тянуть, Дермюш, — сказал начальник. — Будьте хоть сейчас благоразумны.

Один из тюремщиков, желая растолкать заключенного, склонился над койкой, но вдруг отпрянул и удивленно повернулся к начальнику.

— Что там еще?

— Не могу знать, господин начальник, вроде бы ворочается, да только...

Раздался тоненький трогательный писк. Тюремщик резким движением сдернул с постели одеяло и вскрикнул. Остальные подались вперед и тоже изумленно ахнули. На койке лежал не Дермюш, а младенец примерно двух-трех месяцев от роду. Он радовался свету, улыбался и обводил собравшихся безмятежным взглядом.

— Как это понимать? — взревел начальник тюрьмы, обращаясь к старшему надзирателю. — Заключение бежал?

— Никак нет, господин начальник, всего полчаса назад я делал последний обход — Дермюш точно был здесь.

Багровый от ярости начальник клял на чем свет стоит подчиненных, угрожая им самыми страшными наказаниями. Капеллан же упал на колени и принялся благодарить Господа, Пречистую Деву, святого Иосифа, Провидение и младенца Иисуса. Но никто из присутствующих не обратил на него внимания.

— Черт возьми! — воскликнул начальник, склонившись над ребенком. — Да у него та же татуировка, что у Дермюша.

Все стали разглядывать младенца. И впрямь, на груди у него ясно различались две симметрично расположенные наколки: слева — женская голова, справа — собачья. В точности как у Дермюша, и пропорционально его новому размеру — тюремщики готовы были поклясться. В камере повисло напряженное молчание.

— Может, я преувеличиваю, — молвил Лебеф, — но, по-моему, новорожденный похож на Дермюша, насколько вообще грудной ребенок может походить на тридцатитрехлетнего мужчину. Вы только посмотрите: та же здоровенная голова, то же плоское лицо, низкий лоб, раскосые глазки, даже нос один к одному. Или я ошибаюсь? — спросил он адвоката заключенного.

— Да нет, сходство определено имеется, — подтвердил мэтр Бридон.

— У Дермюша сзади на ляжке было коричневое пятно, — вспомнил старший надзиратель.

Поглядели — и родинка на месте.

— Ну-ка принесите мне его антропометрическую карточку, — приказал начальник. — Отпечатки пальцев сравним.

Старший надзиратель опрометью кинулся выполнять поручение. Пока его не было, каждый из присутствующих пытался отыскать разумное объяснение происшедшей с Дермюшем метаморфозе — в том, что это был он, никто уже не сомневался. Начальник тюрьмы нервно вышагивал по камере и в обсуждении не участвовал. Когда же напуганный громкими голосами младенец заплакал, он подошел к кровати и пригрозил:

— Ты у меня еще не так заревешь, парень, погоди немного.

Присевший рядом с ребенком прокурор Лебеф недоумевающе взглянул на начальника.

— Вы действительно считаете, что это и есть ваш убийца? — спросил он.

— Очень надеюсь. Скоро выясним точно.

Капеллан же пред чудом милосердия Господня без устали возносил хвалу Небу, глаза его наполнялись слезами умиления при взгляде на чудо-ребенка, лежавшего между волом и ослом... то есть между набывшимся прокурором и упершимся начальником тюрьмы. Судьба малыша тревожила священника, но он решил во всем положиться на Господа. «Да исполнится воля младенца Иисуса».

Сравнение отпечатков пальцев подтвердило, что речь идет о необычайном преображении. Начальник тюрьмы с облегчением вздохнул и потер руки.

— Ну-с, Дермюш... Придется теперь поторапливаться, — сказал он, — и так уйму времени потеряли.

Возмущенный ропот пробежал по камере, а адвокат приговоренного с негодованием воскликнул:

— Не казнить же нам, в самом деле, младенца! Это ужасно, чудовищно! Дермюш виновен и заслуживает смерти — согласен, но новорожденный-то невинен, неужели это нужно доказывать?

— Подобные тонкости меня не волнуют, — отрезал начальник. — Отвечайте: это Дермюш или нет? Убил он трех человек из Ножана? Приговорили его к смерти? Закон один для всех, так что давайте без глупостей. Эшафот готов, гильотина уже битый час простаивает. Про невинных младенцев они рассуждать будут — смеетесь вы надо мной, что ли? Значит, превращайся кто хочет в новорожденного и избежишь возмездия? Здорово у вас получается.

Мэтр Бридон по-матерински заботливо прикрыл одеялом пухленькое тельце своего подзащитного. Согревшись, ребенок радостно загугукал и заулыбался. Начальник тюрьмы недовольно покосился на младенца — веселье, с его точки зрения, здесь было совсем неуместно.

— Что за цинизм? Смерть на пороге, а он все хихикает.

— Неужели, господин начальник тюрьмы, вы не усматриваете в происшедшем перст Божий? — попробовал вмешаться священник.

— Спорить не берусь, но это дела не меняет. Во всяком случае, меня это не касается. Распоряжения мне дает не Господь Бог, и по должности меня продвигает не Он. Я получил приказ, я его выполню. Или я неправ, господин прокурор?

До сих пор прокурор Лебеф хранил молчание, однако, хорошенько поразмыслив, решил все же высказаться:

— Если следовать логике, ваше рассуждение безусловно верно. Разве справедливо, что убийца, заслуживающий смерти, начинает жизнь заново? Какой дурной пример для подражания! С другой стороны, казнь новорожденного — дело щекотливое! Вы поступите мудро, если доложите обо всем наверх.

— Насколько я знаю свое начальство, оно только разозлится, заставь я его что-то решать. Но позвонить все же надо.

Начальство на работу в министерство еще не прибыло. Пришлось побеспокоить его дома. Толком не проснувшись, оно пребывало не в духе и происшедшую с Дермюшем метаморфозу восприняло как вероломную хитрость, личный выпад и страшно рассердилось на осужденного. Нельзя, конечно, не считаться с фактом, что преступник оказался младенцем. Однако до нежностей ли тут: каждый дрожал за свою карьеру — а вдруг заподозрят в попустительстве? Посоветавшись, начальство решило: «То, что убийца, под тяжестью раскаяния или по какой другой причине... несколько уменьшился в размерах, на правосудие влиять никоим образом не должно».

Осужденного подготовили к казни, то есть завернули в казенное одеяло и состригли с затылка реденький светлый пушок. На всякий случай капеллан окрестил дитя. И сам донес на руках до стоявшей в тюремном дворе гильотины.

На обратном пути он рассказал мэтру Бридону о том, что Дермюш написал письмо младенцу Иисусу.

— Господь не мог допустить в рай нераскаявшегося убийцу Но Дермюш так надеялся, так любил младенца Иисуса. И Бог перечеркнул его грешную жизнь и снова сделал преступника невинным ребенком.

— Но если так, то Дермюш, стало быть, ничего и не совершал — не убивал трех человек из Ножана.

Желая убедиться в своем заключении, адвокат не мешкая отправился в Ножан-сюр-Марн. Сначала он попросил встретившуюся торговку указать ему дом, где произошло преступление,



но ни о каком преступлении никто и слыхом не слыхивал. Жилище престарелых девиц Бриден и их вечно зябнувшего дядюшки адвокат нашел без труда. Поначалу хозяева приняли его недоверчиво, но потом разговорились и даже пожаловались, что прошлой ночью кто-то украл у них со стола музыкальную шкатулку.

*Перевод М. Стебаковой*

# Липовый полицейский

Мартен был женат, имел троих детей и получал три с половиной тысячи франков в месяц, работая счетоводом в одном торговом доме на улице Реомюра. Но поскольку жить-то все-таки надо, в свободное время он прикидывался полицейским. Это занятие требует наблюдательности, сообразительности, хладнокровия и ловкости. Настоящему полицейскому не надо выбирать себе клиентов. Их поставляют участок, префектура или доносчики, тем самым позволяя ему экономить время и избавляя от лишнего риска и хлопот. Кроме того, он имеет право ошибаться. Он может принять даму-благотворительницу за сводню из публичного дома или, если уж очень разойдется, подбить глаз невинному человеку и нимало не опасаться последствий своей ошибки. А главное, ему совершенно не надо заботиться о том, чтобы выглядеть естественно. Мнение, которое может сложиться о нем у его жертвы, интересует его лишь в той мере, в какой он интересуется психологией, если он вообще ею интересуется.

А вот липовый полицейский должен обладать чутьем. И если он не хочет навлечь на себя строгое наказание, предусмотренное законом, ему никак нельзя спутать проходимца с управляющим в отставке, принять бедняка за богача, с крутым парнем обойтись как с тюфяком. Оценивая состояние клиента, он, как правило, может полагаться лишь на сомнительные сведения и, едва постучавшись к нему, с первого же взгляда должен распознать человека, разгадать его характер и выбрать линию поведения. Ему следует не только обладать всеми качествами идеального полицейского, но еще и выглядеть, держаться, одеваться, говорить так, чтобы соответствовать представлению о нем. Мартен придумал себе облик, в точности соответствующий облику инспектора полиции, хотя это не избавляло от необходимости слегка его варьировать в зависимости оттого, с каким клиентом предстояло иметь дело. Массивные плечи, слегка обрюзглые щеки, черная фетровая шляпа с поднятыми полями, зеленый плащ, высокие черные ботинки на толстой подошве, ярко блестящая на черном жилете серебряная цепочка от часов и четкая линия черных усов.

Мартену слегка мешала врожденная честность, которая придавала ему серьезный и вдумчивый вид. Порядочность, слишком явно написанная на его лице, смущала его жертв и довольно часто заставляла их отказаться от намерения предложить ему грязную сделку. Казалось совершенно невероятным, чтобы такой безупречный с виду инспектор позволил себя подкупить. Мартену тоже не хотелось делать первый шаг, да и стеснялся он этого, поэтому иногда он уходил, так и не выдавив из себя возмутительных слов. Но поскольку надо же было как-то выходить из положения, то в таких случаях он исхитрялся запереть хозяина в шкафу, а потом выгребал деньги и драгоценности. Однажды вышло даже так, что когда он трудился в одном доме в Шапель, то немного перестарался и клиент скончался у него на руках. Мартена заела совесть. К счастью, несколько дней спустя — дело было в апреле 1944 года — бомба попала в тот злополучный дом, уничтожив всех его обитателей, и Мартен вновь обрел покой, решив, что исполнил волю Провидения. Мы можем предположить, что при такой душевной тонкости он лишь после долгой внутренней борьбы решил стать липовым полицейским. И в самом деле, в течение всего 1941 года он занимался тем, что сравнивал курс нравственных ценностей с ценами на продукты. Он честно и упорно пичкал своих троих детей самыми надежными, самыми проверенными нравственными ценностями, но, глядя на их бледные личики, на чахлые тельца с торчащими ребрами, слушая их кашель, он в конце концов начал догадываться о том, что сочный кусок мяса поможет им куда лучше усвоить его назидания. Труднее всего оказалось заставить жену принять его точку зрения. И все же, когда ему удалось наконец ее убедить и они зажили в достатке, она принялась донимать его замечаниями, а иногда

даже упрекать в робости и беспечности.

— При таких ценах на норковые шубы сейчас не время сидеть сложа руки, — говорила она.

Само собой разумеется, что ни один из детей не догадывался, чем занимается их отец. Милые ангелочки невинно кушали котлетки по триста франков за кило и намазывали на хлеб маслице по двести франков за фунт, и, надо сказать, щечки у них порозовели и округлились. А когда Мартена начинала мучить совесть из-за его второй профессии, ему достаточно было посмотреть на их славные веселые мордашки и крепкие фигурки. Он говорил себе, что не может мораль требовать, чтобы его дети страдали от голода и болели туберкулезом. Эти размышления куда лучше, чем упреки жены, помогали ему справиться со слабостью и сомнениями, и он начинал трудиться еще усерднее. Своих жертв он выбирал среди спекулянтов, хозяев подпольных складов, евреев, попавших в затруднительное положение, среди посредников и подставных лиц. Городская администрация и государственные учреждения, где нередко торговали должностями и злоупотребляли властью, тоже сулили ему неплохие перспективы. Вершиной его карьеры был случай, когда ему удалось отнять у целой шайки липовых полицейских пятьдесят тысяч франков. Впрочем, первые его шаги на этом поприще были рискованными, и неопытность могла дорого ему обойтись. Вполне естественно, что ему пришла в голову мысль обложить данью торговцев с лицензиями, сбывавших свои товары по недозволенным ценам, и несколько раз он едва ускользал от настоящих инспекторов, которым торговцы платили исправно. Впоследствии ему приходилось наблюдать этот тайный сговор черного рынка, как и всякой нечестной торговли, с теми службами, которые были созданы для его уничтожения. Подобная безнравственность поначалу оскорбляла его чувства, уязвляла его честность и порядочность, сохранившиеся в полной неприкосновенности, несмотря на порожденное обстоятельствами неблагоприятное поведение. Но, поразмыслив, он преисполнился снисхождения и отпустил нарушившим свой профессиональный долг инспекторам грех продажности. «У них тоже есть дети, которых надо кормить, — думал он, — а на те деньги, которые им платит правительство, приличного здоровья никак не купишь. Вот и получается, что перед нами — славные люди, добрые супруги, хорошие отцы семейств, которые только о том и мечтали, чтобы честно исполнять свои обязанности, но тут началась война, вторжение вражеских войск, оккупация. Не стало локомотивов, вагонов, машин, а значит, и еды поубавилось. Ради того, чтобы прокормить свои семьи, они продались, кто как мог. Им захотелось чуть побольше заработать, но в душе они остались честными людьми. Я не хочу верить в то, что добродетель целиком зависит от транспортного кризиса, это было бы слишком страшно. На самом деле с ней все обстоит точно так же, как и с самим Богом. Война может разрушить церкви, как разрушает и те условия жизни, при которых только и может проявиться добродетель. Но Бог от этого не перестает быть бессмертным и продолжает существовать среди руин храма. И мне достаточно заглянуть в себя, чтобы ощутить там освежающее веяние добродетели, и, право же, это и есть самое главное. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: принцип куда важнее дел. Если источник остался чистым, вода в ручье надолго не замутилась».

В этих его размышлениях было так мало лицемерия, а надежда, которую он питал в тайниках своего сердца, была столь благородной, что он со светлой радостью встретил зарю избавления. В день освобождения Парижа Мартен заключил жену в объятия и воскликнул, проливая слезы счастья:

— Мы свободны, Жюстина, свободны! Вот и пришел конец нашим несчастьям, конец ложному существованию, к которому нас принудили эти трудные времена. Сплошной туман, скрывавший сияние добродетели, наконец рассеялся. Вагоны с маслом, свининой, красным вином и дичью со всех сторон устремятся к Парижу. Жюстина, возвращается то, чего мы так

долго ждали, вновь начинается наша прежняя жизнь, такая скромная и такая достойная.

Жюстина недовольно слушала мужа и, опустив глаза, вертела на руке тяжелый золотой браслет.

— Вспомни, как мы были счастливы до войны, — говорил Мартен. — Вспомни наши вечера при свете лампы. Ты штопала мои штаны, а я, чтобы подзаработать, приводил в порядок бухгалтерию соседа-бакалейщика. При всей нашей бедности наши дети ели досыта, у них были теплая одежда и башмаки. Ты гордилась тем, что умеешь выкручиваться и так мало тратишь, а у меня никогда не было ни минуты отдыха. Вот какое счастье, Жюстина, мы обретем вновь.

Не слушая жалоб и упреков жены, Мартен решительно отказался от карьеры липового полицейского. Почти два месяца он радовался, что у него чистая совесть, и гордился собой. Никогда еще его работа помощника счетовода не казалась ему такой прекрасной. В конце сентября он получил свои три с половиной тысячи франков жалованья, и при мысли о том, что это единственный его заработок за весь месяц, его прямо-таки распирало от гордости. И все же Мартен не зарыл в землю свой талант полицейского, поставив его на службу благородным целям. В свободное время не столько ради удовольствия, сколько из патриотического пыла он собирал сведения о поведении и высказываниях, которые позволяли себе во время оккупации некоторые сомнительные типы, и выдавал властям плохих патриотов. Таким образом ему удалось, к полному его удовлетворению, отправить за решетку семьдесят одного человека.

— Как это приятно — работать на полицию, — объяснял он жене.

Тем не менее жена его все время была не в настроении и жаловалась, что дорожает масло, равно как и мясо, вино, а также прочие продукты. В день, когда он принес ей свои три с половиной тысячи франков жалованья, она, убирая их подальше, сказала:

— Это пойдет мне на сигареты в октябре. Кстати, дай-ка мне двадцать тысяч франков. Пришлось купить...

За этим последовало долгое перечисление необходимых покупок и уплаченных сумм, сопровождавшееся неизбежным комментарием. По ее мнению, денег на жизнь требовалось все больше и больше, а поскольку на серьезные доходы рассчитывать уже не приходилось, следовало предполагать, что в ближайшее время семью ждут голод и отчаяние. Столь мрачная перспектива, развернувшаяся перед Мартеном, на время смутила его, но в этот день с его подачи вот-вот должны были прийти за соседями по площадке, и сознание исполненного долга подогрело его оптимизм. Через три недели постоянных требований денег стало ясно, что семейные сбережения истощились. И Мартену пришлось, как он ни старался отвертеться, прислушаться к жалобам жены и внять ее все более настойчивым призывам. Надо идти в ногу со своим временем, твердила она, иначе остается только лечь и умереть. Наконец, после долгих споров и душевных страданий, он решил вернуться к своей деятельности липового полицейского, сказав себе, что это не должно отягощать его совесть. На следующий же вечер он обобрал торговца кремнями, снабжавшего немалую часть подпольного рынка. Эта операция принесла ему двадцать пять тысяч франков, но, сколько ни твердил он себе, что совести его это совершенно не затрагивает, все же на обратном пути сердце его сжималось от тоскливого чувства, напоминавшего раскаяние. Несколько дней Мартен ходил печальный и молчаливый. Он был очень подавлен, и, опасаясь, как бы он не отказался навсегда от своего занятия, Жюстина решила, что необходимо чем-то его занять, и указала ему на весьма выгодное дельце. Речь шла о старой деве, которая выдала гестапо человек десять, а одного двадцатилетнего парня, уклонявшегося от работы в Германии, подвела под расстрел. Боясь ареста, она пряталась в меблированной комнате на Голубой улице, и тайна этого убежища, передаваясь по цепочке между верными подругами, достигла ушей Жюстины. С наступлением темноты Мартен, преодолев отвращение, заставил себя пойти к старухе и нехотя ее пошантажировал. Он уже

собирался уйти с добычей, но внезапно ощутил прилив вдохновения и задушил клиентку так, что она и пикнуть не успела. Искупив свой некрасивый поступок этим патриотическим актом правосудия, он почувствовал такое блаженство, что четыре дня спустя, взяв дань с молоденького фашиста-полицейского, перерезал ему горло. Отныне он не щадил своих клиентов, никого не оставляя в живых. Он карал и дельцов черного рынка, считая, что они принесли немало вреда национальной экономике. Кроме всего прочего, эти казни давали ему возможность получить особенно богатую добычу, поскольку вместе с выкупом он уносил имущество преступника. В доме вновь воцарились покой и веселье. Примирив наилучшим образом необходимость зарабатывать на хлеб с требованиями придирчивой совести, Мартен неизменно пребывал в самом радужном настроении. Что касается Жюстины, то отныне она безмятежно смотрела в будущее.

— Работы еще полно, — грубовато говорила она. — Конечно, черный рынок не вечен, все когда-нибудь кончается, но я все-таки думаю, что на какое-то время мы обеспечены.

— Во всяком случае, — замечал Мартен, — моей вины в этом нет. Только вчера...

— Конечно, дорогой мой, но не все же поступают так, как ты. Конца черному рынку пока что не предвидится. Кроме того, французы не перестают ненавидеть и подставлять друг друга, а пока остаются такие, кому есть чего бояться...

— Это правда, — вздыхал Мартен. — Для того чтобы очистить нацию от вредных элементов, потребуется немало времени и неустанного труда.

И Мартен продолжал убивать без устали, и с каждой новой жертвой он чувствовал, что вырастает в собственных глазах. У него случались упоительные дни — например, в ту субботу после обеда, когда он зарезал одного спекулянта, одного предателя и одну нехорошую женщину, которая во время оккупации отдалась немецкому офицеру. Он не всегда интересовался, в каких отношениях состоят его клиенты с полицией, и часто выбирал себе жертву среди преступников, которым большие связи или незаслуженная удача помогли избежать наказания. Жажда правосудия постепенно вытесняла из его сердца все прочие помыслы. Иногда, бесцельно прогуливаясь по улицам, он, как ему казалось, распознавал спекулянта по нагло торчавшему пузу или угадывал коллаборациониста по порочному огоньку во взгляде и тогда чувствовал, как содрогается в его руке меч архангела.

Чистые люди не меньше всех прочих подвержены искушениям. В один прекрасный день он, сжимая в кармане пальто свой карающий нож, постучал у дверей женщины с темным прошлым, которая — и это все знали — продала немцам секреты искусства, касающиеся собора Сакре-Кёр на Монмартре. Она открыла ему сама. Это оказалась молодая блондинка (или брюнетка) с обычным ртом, обычным носом и глазами неопределенного цвета. Любовь завладела Мартемом с первого взгляда, окутала его, опутала, пронзила и насквозь пропитала его тело и душу. Он пропал. Но не будем забегать вперед. Ремесло липового полицейского открыло ему много тайн человеческого сердца, и он привык мгновенно извлекать выгоду из непредвиденных ситуаций. Он взял руку нечестной женщины и нежно сжал ее.

— Меня зовут Мартен, — сказал он, — я киноактер. Я несколько раз видел, как вы проходите по улицам Монмартра, и полюбил вас.

— Мсье, — воскликнула молодая женщина, которую звали Далилой, — вы совершенно спятили!

Она окинула недоверчивым взглядом странную фигуру посетителя.

— Мне так не терпелось открыть вам мою любовь, — сказал Мартен, — что я появился в совершенно невыгодном для меня виде. Я киноактер и сейчас снимаюсь в роли полицейского, отсюда и такой маскарад.

— Забавно. А как будет называться этот фильм?

— Он будет называться... «Липовый полицейский». Этот фильм начали снимать еще во время оккупации, и съемки вот-вот закончатся. Собственно, я в нем потому и играю, поскольку, должен вам признаться, попал под чистку и на два года был лишен права работать.

Мартен сказал это, чтобы она могла чувствовать себя непринужденно, и страсть уже так на него подействовала, что он не постеснялся нацепить на себя эту новую личину «пострадавшего».

— Заметьте, мне на это наплевать, — развязно прибавил он. — Я заработал много денег, а после войны, как только захочу, уеду сниматься в Америку.

— Так им и надо, — сказала Далила. — Значит, вас они тоже достали? А меня, представляете, в нашем квартале... — ну и так далее.

Мы вовсе не намерены излагать здесь историю их любви. Скажем лишь то, что вам надо знать: три раза поужинав с Далилой в ресторане с бешеными ценами и посмотрев в кино «Экстравагантного господина Дидса», Мартен предался с ней любви в ее двухкомнатной квартире с ванной на проспекте Жюно. И с тех пор начались бессонные, сладострастные ночи, когда они, хрипло дыша, то и дело проваливались в пропасть наслаждения. Они предавались любви с неслыханной утонченностью, облачившись в купленные у спекулянтов пижамы, а на проигрывателе тем временем крутились пластинки с мелодиями Жана Саблона или незатейливыми песенками о предместьях, мебелированных комнатах и тоскливых вечерах. На рассвете Мартен с пустой головой, бессмысленно глядя из-под опухших век, возвращался домой.

— Я напал на роскошное дело, — говорил он жене. — Оно будет долгим, трудным и утомительным, но ради него стоит потрудиться.

— Брось ты это, — советовала Жюстина. — Чего ради гоняться за крупной дичью, милый? Это всегда опасно. Кругом полным-полно обычных мелких жуликов, которые каждый раз приносят тебе пятьдесят тысяч.

Она говорила так неспроста: Мартену не удалось как следует замести следы и кое-что в поведении мужа казалось ей странным. Ее подозрения полностью подтвердились в тот день, когда Мартен, вытаскивая бумажник, выронил из кармана фотографию Далилы, украшенную лестной, страстной и недвусмысленной надписью. Жюстина назвала его бессердечным человеком, никуда не годным отцом, дураком, а кроме того, свиньей. Мартену пришлось пообещать, что отныне он будет возвращаться домой никак не позже десяти часов вечера, и во избежание подобных сцен сдержал слово. Но выполнять обещание ему было мучительно, потому что Далила, его любовница, осыпала его упреками и чуть ли не ссорилась с ним из-за того, как мало времени он ей уделяет. Мартен от всего этого устал. Он начал подумывать, не пятой ли колонны его жена и не заслуживает ли и она наказания как предательница. В самом деле, как-то раз за обедом ему пришла на память некая ночь 1943 года, когда его жена, разбуженная сиренами и стрельбой, сказала, что англичане — сволочи. Он и сейчас слышал, как она это произносит. Конечно, дело было серьезное. Однако он в тревоге спрашивал себя, может ли он, оставив безнаказанным преступление Далилы, покарать супругу, и рассуждал сам с собой на эту тему несколько дней. Если уж человек однажды свернул с прямого и праведного пути, он может на него вернуться, лишь сгибаясь под тяжестью своих беззаконий. И, встречаясь глазами с мужем, Жюстина подмечала в его взгляде странные огоньки. Как-то вечером, после того как они поужинали и дети легли спать, он внезапно спросил у нее:

— Помнишь ту декабрьскую ночь, когда нас разбудила воздушная тревога и ты поднялась с постели со словами: «Англичане — сволочи»?

— Очень может быть, — согласилась Жюстина. — Я столько раз это говорила...

— Значит, память меня не обманывает. Жюстина, ответь мне, только честно.

Раскаиваешься ли ты в том, что произнесла эти слова?

— Конечно, — ответила тактичная Жюстина.

— Хорошо, — вздохнул Мартен. — Поскольку ты раскаялась, не будем больше к этому возвращаться.

Дешевое раскаяние, поспешное отпущение грехов, жалкая пародия на правосудие, но Мартен уже увяз в этой трясине. Избавив от наказания собственную жену, он избавил от наказания и других преступников, отчасти из лени и за недостатком времени — почти все свои досуги он теперь посвящал Далиле, — отчасти под воздействием сентиментальности, порожденной любовью. Ему случалось по целым неделям не убивать ни единой души. Иногда он спохватывался и осознавал, насколько он сдал. «Ах, мне бы только немножко времени, — думал тогда он, — я бы устроил настоящую резню». В одну из таких минут Мартен решил бросить работу счетовода. Он полагал, что, освободившись от своих обязанностей, сможет больше времени отдавать делу правосудия. Однако произошло как раз обратное: он целиком и полностью оказался во власти Далилы. Вместо того чтобы все свободное время отдать делу правосудия, Мартен полностью посвятил свой досуг любви. Он поглупел, размяк, расклеился. Он расслабился, перебрал милых шалостей, бессмысленных и сладких словечек на ушко, игривых взглядов. Он сделался озорным, ребячливым, ленивым, вредным, непостоянным и романтичным. Вскоре Мартен совсем перестал убивать. При виде крови ему становилось нехорошо, и он довольствовался тем, что вымогал деньги у своих жертв. Правда, он несколько не утратил навыков и даже обдeldывал свои делишки ловчее прежнего. В первую минуту клиенты бледнели, увидев перед собой липового полицейского, словно сошедшего со страниц детективного романа, но во взгляде этого развращенного человека теперь поблескивали такие плутовские искорки, что они, перестав стесняться, запросто предлагали ему бесчестную сделку.

Как-то под вечер Мартен, облачившись в шелковую пижаму цвета граната, сидел у любовницы и грел ляжки у пылавших углей по двадцать тысяч франков за тонну, не считая чаевых. Далила, по пояс голая, пристроившись на краешке дивана, щипчиками для сахара выдергивала волосы на ногах. Распрямившись, она положила щипчики на чайный столик, с отвращением взялась руками за собственные голые груди и принялась поглаживать и теребить их, словно ища союзников в своих размышлениях и одновременно всматриваясь в лицо возлюбленного нежным, хотя и критическим взглядом.

— Миленький, — сказала она, — долго ты еще будешь ходить с таким видом?

— Но, Далила, душенька, сладкая моя, — сказал он, не понимая, о чем она говорит, — что это тебе почудилось? Я совсем не дюжусь.

— Ты меня не понял. Я спрашиваю, долго ли ты еще собираешься разгуливать с лицом полицейского инспектора. Съемки давно закончились, поэтому тебе обязательно надо изменить внешность. Да и одежду тоже — можно подумать, тебе нравится выглядеть полицейским.

Мартен попытался отстоять свои усы, свой зеленый плащ и свои высокие ботинки, ссылаясь на то, что не хочет расставаться с тем обликом, в котором ее покорил.

— Ты мог бы стать таким красивым, — вздохнула Далила. — Уступи мне. Я уверена, ты будешь выглядеть потрясающе.

Мартен недолго сопротивлялся Далиле. Он согласился подстричь усы и позволил нарядить себя в длинное пальто бананового цвета, того же оттенка спортивную шляпу, которую носил на затылке, пару очень светлых замшевых туфель и повязать поверх зеленой рубашки галстук цвета розовой попки. Когда он вернулся к домашнему очагу, дети при виде отца пришли в полный восторг, в отличие от жены, которая поинтересовалась, не потерял ли он всякий рассудок вместе со стыдом.

— Но я же имею право одеваться как все люди, — простодушно заметил Мартен.

Не менее простодушно он назавтра явился к некоему Гектору Дюпону, который спекулировал на черном рынке, однако много отстегивал своим покровителям и поэтому еле-еле наскребал семь или восемь тысяч франков в месяц, покупая и перепродавая все, что подвернется: масло, шпильки для волос, а то и варенье из конских каштанов.

Эта неблагодарная и скучная работа приносила ему хорошо если шестьсот процентов прибыли, никак не больше. При виде незнакомого посетителя, в котором жулик был виден за версту, Дюпон нисколько не удивился, решив, что тот явился предложить ему сделку.

— Инспектор Мартен, — представился Мартен, вытаскивая свое фальшивое удостоверение. Дюпон с трудом удержался от радостной улыбки.

Липовый инспектор сообщил, что он в курсе его махинаций, более того, он настолько хорошо осведомлен о его делишках, что считает вполне уместным побеседовать о некоей тонне масла, купленного в Бретани по пятьдесят франков за килограмм и перепроданного парижским торговцам по четыреста пятьдесят. В подтверждение своих слов он выложил кое-какие подробности сделки и назвал несколько имен.

— Господин инспектор, — ответил Дюпон, — я ничего не понимаю. Я в жизни не имел никакого отношения к черному рынку, разве что покупая кой-какую мелочь. Совесть у меня совершенно чиста, и моя консьержка может вам это подтвердить. С другой стороны, я не хочу неприятностей! Вы человек добросовестный, вас ввели в заблуждение, и я бы дорого дал за то, чтобы узнать подоплеку этой истории. Сколько, по-вашему...

— Это не вполне законно, — слегка поломался Мартен, — но, думаю, что пятьдесят тысяч франков дали бы нам возможность начать расследование.

Дюпон завопил как резаный, он поклялся, что у него нет ни гроша, но в конце концов согласился выложить сорок тысяч франков и пошел доставать деньги из сейфа. Пока Мартен, оставшись в гостиной в одиночестве, рассовывал по карманам безделушки из слоновой кости, намереваясь порадовать Далилу, его клиент позвонил в полицию. Липового полицейского взяли в тот самый момент, когда Дюпон отсчитывал ему сорок тысяч франков. В участке два настоящих инспектора, у которых усов, кстати, не было, так яростно принялись упрекать его за дискредитацию их профессии, что Мартен лишился нескольких зубов.

Судебное заседание прошло довольно гладко. Мартен признался своему защитнику в том, что в течение нескольких месяцев вершил святое дело правосудия. Основательно поразмыслив, адвокат решил, что судьям лучше ничего не знать о подвигах его подзащитного. Можно поспорить насчет того, правильно ли он поступил, но, как бы там ни было, Мартена приговорили к двум годам тюрьмы и пяти годам высылки. Надо думать, эта неприятная история послужит ему уроком и в будущем он сумеет найти лучшее применение своим способностям липового полицейского.

*Перевод А. Васильковой*



# Могила семи грехов

Людовика Мартена, нашего любимого профессора нравственной чистоты, дьявол искушал на пустынном бретонском пляже, где мы, двенадцать его учеников, внимали мудрым речам наставника. Знаменитый «Трактат о профилактике души», написанный Мартеном, содержал тридцать два надежных способа противостоять соблазну. С девяти вечера до полуночи дьявол предлагал ему одну мишуру: творческие способности, министерские полномочия, светские успехи, многоопытных красавиц, пышные бюсты, американские автомобили, первенство в литературе, в философии, в игре на губной гармошке, в велогонке «Тур де Франс», в интегральном исчислении, в рыбной ловле. Профессор одно за другим отвергал эти предложения, однако вскоре исчерпал все ресурсы своей профилактической методики. Что ж, тем и опасны учебники, трактаты и путеводители — они отвечают на все вопросы в заданных рамках, но не дают душе и уму простора для полета, извилистых кротовых нор и головокружительных склонов. Когда минула полночь, наш великий Людовик начал слабеть, и при первых проблесках утра он уже сидел, облокотившись на ручку кресла и изящно подперев щеку указательным пальцем, а на губах его играла тонкая и надменная улыбка человека, проникшего в тайны мироздания.

— Жизнь — не что иное, как экзамен, — говорил черт, — случай, предоставленный всякому существу, чтобы показать, насколько оно достойно Вечности. На что нам в загробном мире бездари, неудачники и слабаки? Пусть возвращаются в небытие!

— Безусловно, — соглашался Мартен.

— Но те, кто выйдет победителем из этого испытания, те, кто сумеет нажать себе состояние, выжав пот из быдла, те, кто сможет сказать в день кончины: «Господи, вот чего я добился с помощью тупиц, простофиль и прочего подручного материала, который Ты предоставил в мое распоряжение», — именно они будут нужны нам на небесах, чтобы построить град вечного счастья, где они пребудут вечно.

— Безусловно.

— Но послушайте меня: дня таких блестящих умов, как вы, сложность экзамена усугубляется присутствием лжедвойника, постоянно стоящего между человеком и его деяниями. Этот лжедвойник, этот ваш личный враг, — вы угадали его, мой дорогой Людовик, — это душа. Следовательно, необходимо свести на нет владычество души, а еще лучше, совсем от нее избавиться.

И профессор продал свою душу за золотого тельца, размером едва ли больше пуделя, но весом двести килограммов. Поскольку я был его лучшим учеником, он взял на себя труд продать заодно и мою. За нее дьявол дал всего каких-то восемнадцать килограммов золота: сделал теленку хвост подлиннее да прикрепил ему на голову пару рогов, совершенно не соответствовавших его возрасту. Узнав об этом несколько часов спустя, я еще мог расторгнуть соглашение, но в моем сознании уже вставали сладостные видения ожидающих нас мерзостей.

— Итак, я богат, — сказал мне мой профессор нравственной чистоты, — да и вам кое-что перепало. Давайте отправимся в Китай: там война и голод. Нет ничего приятнее, чем чувствовать себя богатым посреди всеобщей нищеты и несчастий.

Через два дня мы вместе с тельцом поднялись на борт грузового судна, отплывавшего в Китай. Нашими попутчиками были отставной капрал, английский пастор, его жена и три дочери — юные, прекрасные, скромные создания. Обратить экипаж и пассажиров в веру золотого тельца оказалось для нас парой пустяков. В довершение всех гнусностей мы позволили одному лишь пастору избежать заразы и развлекались зрелищем его боли и ярости при виде жены и

дочерей, впавших в непотребство. Четыре дня и четыре ночи корабль сотрясался от истерических воплей, сладострастных вздохов, шума драк, грабежей, убийств и непрерывного потока богохульств. Нескончаемые бешеные оргии следовали одна за другой. Самым чудовищным грехам мы предавались с исступленной страстью, но и с обстоятельностью людей, знающих толк в разврате.

Утро пятого дня пассажиры и вся команда встретили на палубе совершенно нагими, простершись вокруг золотого тельца. Отставной капрал, которому прислуживали дочери пастора, служил мессу и с чудовищным корсиканским акцентом возносил хулу Господу. В руке он держал распятие и, то и дело демонстрируя его нам вверх ногами, вопрошал: «Узнаете ли вы Сына Божьего?» — на что мы хором отвечали: «Да, это Он — сын золотого тельца», а жена пастора, у которой волосы и груди свисали до самых бедер, вопила, сидя верхом на метле: «О единственный сын великого тельца, не оставь нас в воровстве, человекоубийстве и блудодеянии!» В первом ряду молящихся бородатый матрос, увенчанный белыми цветами и связанный по рукам и ногам, ждал, когда капитан перережет ему горло у ног божества. Внезапно из каюты выскочил пастор и, размахивая плеткой, набросился на дочерей. Он хлестал их изо всех сил, он осыпал их проклятиями, называя бесовским отродьем и плотью от плоти греха. Под ударами, рассекавшими их нежную кожу, девушки сладострастно извивались, отталкивали друг друга, стараясь попасть под бич отцовского гнева, и испускали полные желания стоны. «Посильнее, — молили они, — пожалуйста, посильнее, папочка». Поняв, что он лишь содействует коварным замыслам князя тьмы, пастор с криком ужаса отшвырнул плетку, убежал на бак и рухнул на колени. Неудержимые рыдания сотрясали его тщедушное тело, затянутое в черный сюртук, когда он восклицал, заламывая руки и обратив глаза к небу: «Господи, покарай нечестивцев!» Тем временем жена пастора предложила принести его в жертву вместо бородатого моряка, а дочери стали домогаться чести лично перерезать отцу горло. Идея показалась нам интересной; ничто как будто не препятствовало ее осуществлению, но, когда пастор в третий раз возопил: «Господи, покарай нечестивцев!» — его молитва была услышана, и огромная волна смысла всех с палубы.

Все мы, за исключением пастора, оказались на морском дне и были безнадежно мертвы. У нас были головы мертвецов, остекленевшие глаза мертвых рыб и застывшая на лице гримаса. Хотя мы и не потеряли способности двигаться, чудовищная толща воды почти намертво придавила нас. Мне, например, лишь после весьма долгих попыток удалось повернуть голову сначала направо, потом налево, чтобы попытаться понять, где мы находимся. Место нашего заточения представляло собой нечто вроде скалистого цирка, между стенами которого, не слишком обрывистыми, не было тем не менее заметно никакого просвета. Высоко над нами, в водяном небе, проплывали стайки рыб всевозможных размеров и видов. Изредка одна из них опускалась на самое дно нашей тюрьмы, где ее и настигала смерть. Песок был усеян скелетами самых разнообразных рыб, служивших его единственным украшением. В стенах нашего ада то тут, то там зияли какие-то пещеры, мрак которых казался непроницаемым для человеческих глаз.

— Хотел бы я знать, где мы оказались и сколько мы тут проторчим, — сказал со своим неизменным корсиканским акцентом отставной капрал. — Мне это осточертело.

— Но мы ведь, кажется, в аду, — возразила супруга пастора, — а в ад если уж попадаешь, то, как правило, навечно. Я думаю, стоит смириться.

Все эти разговоры, в которых мы обсуждали это новое для нас положение, в действительности были просто пустой болтовней, данью привычке. Даже считать их проявлением общительности и то было бы ошибкой. Безучастные к собственной судьбе и ко всему, что нас окружало, мы не интересовались друг другом. Теперь мне кажется, что я ничего

не ждал, ни к чему не стремился, ни о чем не жалел, но воспоминание об этой абсолютной пустоте ярче самой реальности. До сих пор мне изредка случается вновь ощутить эту великую пустоту, когда сопутствовавшее ей чувство тошноты вдруг на мгновение возвращается ко мне. В то же время мы никогда прежде не были такими интеллектуалами: в каждом из нас мысли складывались, умножались, менялись с такой быстротой и точностью, которые сделали бы честь хорошей счетной машинке. Необыкновенная ясность ума даже подтолкнула нас к некоторым изысканиям, которые могли бы сойти за проявление любознательности, однако на самом деле они были лишь потребностью в совершении хоть каких-то действий и получении хоть каких-то результатов. Помимо этой машинальной мыслительной работы, нас по-настоящему интересовало только течение времени, неопределенность которого рождала в нас подобие тревоги, мерцающей и колеблющейся, как огонек лампадки. Каждый изобрел для себя свою меру времени. Моя была не хуже прочих. Золотой телец, последовавший за нами на морское дно, упал всеми четырьмя копытами кверху и теперь под действием собственной тяжести медленно погружался в песок. Проделав несложные расчеты, я научился определять, сколько прошло времени, исходя из объема погружившейся части. Когда нам пришлось в голову сравнить наши оценки, обнаружилось, что результаты колеблются от сорока восьми часов до семидесяти лет, однако каждый продолжал придерживаться того способа подсчета, который он избрал для укрощения календаря вечности.

Прошел год по золотому тельцу, а в нашем аду ничего не изменилось — разве что мы сдвинулись на несколько шагов. Внезапно от гряды скал, окружавших нас со всех сторон, отделилась какая-то фигура. Это был человек среднего роста, в котелке, полосатых брюках и темно-сером пиджаке. У него были невыразительная, гладко выбритая физиономия и повадки конторского служащего, не слишком ревностно относящегося к своим обязанностям.

— Это дьявол, — сказала младшая дочь пастора. — Я его узнала. Я видела его в Лондоне в одном американском фильме.

Дьявол — а это и вправду был он — остановился и окинул взглядом наши бледно-зеленые тела. Он глядел на нас так, как смотрит клерк, занятый составлением несложной ведомости, и не интересовался никем в отдельности. Мы, со своей стороны, не испытывали перед ним ни малейшей неловкости, и его присутствие даже не было нам неприятно. Он принялся расхаживать взад-вперед, и мы заинтересованно стали смотреть на него, поскольку его шаги, всегда одинаковые, служили прекрасной единицей измерения времени. Не переставая шагать, он заговорил с нами бесстрастным голосом, в котором не было ни враждебности, ни симпатии:

— Вы в аду. Естественно, навсегда. Я должен объяснить, в чем состоит предназначенная для вас пытка, поскольку иначе она не достигнет своей цели. Прежде всего, поймите, что грех — это совсем иное, нежели нарушение закона. Грех составляет самую суть жизни. Подобно тому как электрический ток дает свет, грех поддерживает жизнь. В зависимости от тяжести он называется гордостью или гордыней, аппетитом или чревоугодием, любовью или сладострастием и так далее. Жизнь никогда не стоит на месте — она постоянно отвечает на зов быстролетящего мгновения. Грехи — это те токи, что питают жизнь и постоянно влекут ее к обновлению. Имея власть над этими токами и возможность управлять ими по собственной прихоти, вы использовали их безрассудно и расточительно — и ваши лампы перегорели. В вас больше нет греха...

Дьявол прервал свою речь и остановился перед нами, сунув руки в карманы. Я почувствовал, как во мне просыпается неясная, доселе не изведенная тревога. Потом он снова заговорил тем же тоном, бесстрастным и безразличным:

— В вас больше нет греха. Токи покинули вас, а энергия, которую они несли, материализовалась вовне. Каждый из грехов принял то обличье, которое приписывало ему ваше

необузданное воображение. Сейчас вы увидите их и назовете хорошо известными вам именами: гордыня, гнев, зависть, чревоугодие, скупость, лень, сладострастие. Вы узнаете страдания евнуха, одержимого призраком счастья, которым он наслаждался и которого больше не чувствует, страдания старика, который с дразнящей ясностью думает о замечательном аппетите, что был у него в молодости, и более не испытывает его, страдания падшего, который вспоминает о своем благородстве и не может найти утраченную дорогу к нему, и еще столько других, которые соединятся и умножатся. Понимать — и не чувствовать более. Слышать свой собственный зов — и быть не в силах на него ответить. Вечно стремиться за тенью без малейшей надежды на встречу...

Жена пастора охнула, а мой профессор нравственной чистоты издал нечто вроде мычания. Дьявол, казалось, был этим тронут.

— Я ничего не могу для вас сделать, — сказал он. — Я такой же, как вы. Но мои грехи — это целые миры, я постиг их и больше не могу их любить. Оставим это и вернемся к вашим грехам. Они здесь, рядом с вами, в пещерах. Сейчас я вам их покажу...

Продолжая говорить, дьявол поднял голову. Внезапно он замолчал, вглядываясь в какую-то черную массу, появившуюся на нашем жидком горизонте. По направлению к нам двигался какой-то предмет, похожий на черную рыбу. Вскоре силуэт стал более четким, и мне показалось, что это небольшая акула.

— Ни дать ни взять пастор! — воскликнул кто-то из матросов.

— Да, это мой отец, — подтвердила одна из девушек.

Пастор, который пикировал прямо на дно нашей впадины, опустился на песок около своих дочерей и нежно посмотрел на них.

— А вам-то чего тут надо? — поинтересовался дьявол.

— Я послан Богом.

— А чем вы это докажете?

Вместо ответа пастор осенил себя в воде крестным знаменем. Мгновенно лишившись одежды, дьявол остался совершенно голым. Он был великолепно сложен. Я заметил, что он не имел пола, по крайней мере, на это не было никаких сколько-нибудь существенных указаний. Происшедшая неприятность, казалось, не удивила и не раздосадовала его. Одевшись, он спросил у святого отца, что тот собирается делать.

— Я хочу сражаться за эти души, — ответил пастор.

Дьявол повернулся к одной из семи черневших в скале пещер и хлопнул в ладоши.

На песке показалось жирное, извивающееся чудовище — Гордыня собственной персоной. Тело ее имело форму комода в стиле Людовика XV, голова, запрокинутая далеко назад, соединялась с туловищем изящной лошадиной шеей. Это была раздутая, апоплексическая голова, с резким профилем и низким лбом, увенчанная парой витых рогов, загнутых кверху наподобие рогов муфлона. Необыкновенно выпяченная нижняя губа была больше верхней чуть ли не на полфута, а левый глаз, вспухший и студенистый, походил на гигантский монокль. Ноги чудовища, невероятно тощие, но с выступающими икрами, были облачены в гетры из ракушек. Однако его сложение было, пожалуй, менее удивительным, чем богатство красок, которыми сверкало все его тело. Сзади красовался целый султан из разноцветных щупалец, отливавших золотом и пурпуром. Каменные колени были молочно-белыми, ступни и бедра — цвета гусяного помета. На груди чудовища носило огромную врезавшуюся в кожу орденскую ленту, фиолетовую с белыми полосками, а на животе в стиле Людовика XV — два ряда украшений, представлявших собой кожные наросты самых немислимых расцветок. Рога у него были золочеными, а телячьи ушки — ослепительно красными. Я еще забыл упомянуть, что природа на испанский манер нацепила на его каблучки пару блестящих шпор. Гордыня шла подбоченясь,

тяжелой и уверенной поступью. В правой руке она держала тамбурмажорский жезл, такой длинный, что ей пришлось бы встать на цыпочки, чтобы дотянуться до набалдашника. Мы наблюдали, как она выкобенивается, со смешанным чувством отвращения и щемящей тоски. Гордыня, в свою очередь, рассматривала нас в «монокль», и ее нижняя губа презрительно оттопыривалась.

— Что тут за ублюдок желает сразиться со мной? — спросила она густым, гнусавым от самодовольства басом. — Где этот кретин? Где этот выродец? Сейчас я переломаю ему все кости и смешаю с кишками его дурацкие мозги.

— Я тот человек, которого вы ищете, — произнес пастор.

Гордыня едва удостоила взглядом его тщедушную фигурку и разразилась громовым хохотом.

— Ладно уж, — сказала она, отсмеявшись, — я сегодня добрая. Поцелуй меня в зад, и я подарю тебе жизнь.

Поскольку пастор отклонил это предложение, дьявол вручил обоим противникам по мечу, но Гордыня отшвырнула свое оружие, воскликнув:

— К черту меч! Для такого ничтожества мне хватит и палки!

Взмахнув своим жезлом, она двинулась навстречу пастору, который принял боевую стойку. С первого взгляда было ясно, что святой отец, к несчастью своему, никогда не имел дела с мечом. Согнув руку в локте и прижав кулак к плечу, держал его, как обычно держат кинжал, и даже не пытался защитить себя от возможного удара слева. У него был настолько жалкий вид, что Гордыня презрительно усмехнулась.

— Нет, палка — это слишком, — сказала чудище и отбросило жезл. — Стоит мне только дунуть — и эта козявка сгинет.

В этот момент противников разделяло не более четырех шагов. Вдохнув поглубже, Гордыня еще больше запрокинула голову и надула щеки. Пастор с простодушной самоуверенностью нанес удар. Целясь в живот, он попал в горло, и чудовище упало навзничь. На всякий случай пастор отрубил ему голову. Из зияющей раны взметнулся в море и тотчас же обрушился на песок фонтан крови. Вместе с кровью Гордыня теряла и свою блистательную расцветку. Султан и украшения поблекли, и вскоре перед нами лежала лишь дряблая гора мяса. К давно забытому чувству гордости, охватившему нас при виде победы пастора, примешивалось и чувство смирения: ведь память о нашем прежнем поведении не просто жила у нас в мозгу — она въелась в нашу плоть. Дочери пастора протягивали к нему руки, лепеча слова благодарности, а его супруга, охваченная стыдом, лишь молча опустила голову.

— Следующий! — крикнул дьявол, поворачиваясь ко второй пещере.

Из своего убежища медленно выползла Зависть. Сначала мы увидели только ее огромную голову, похожую на твердый роговой шлем. Между забралом шлема и подбородником зияла черная дыра, из глубины которой поблескивали золотисто-зеленые глаза. Взгляд Зависти, брошенный из этой темной бездны, словно впивался в каждый предмет, на котором останавливался. Время от времени забрало бесшумно опускалось, и два недобрых огонька гасли. Тварь приближалась осторожно, опустив морду к самой земле между толстыми чешуйчатыми передними лапами. Пройдя шагов десять, Зависть ловко выпрямилась. Тело ее было членистым, как у насекомого, так что верхняя его половина без видимых усилий сохраняла вертикальное положение. Эта верхняя половина, по форме напоминавшая человеческую, была местами защищена роговыми пластинками, а там, где они отсутствовали, кожу покрывали фурункулы, из которых сочилась желтоватая жидкость. Нижняя часть туловища, благодаря которой Зависть удерживала равновесие, напоминала толстого и пузатого черного крокодила с шестью парами проворных лап.

Гордясь нашим защитником, мы страстно желали ему победы, но внушительные размеры чудища, его мощная грудь и лапы и поразительная подвижность, казалось, не оставляли пастору никакой надежды на успех. Начало битвы лишь подтвердило наши опасения: перемещаясь вокруг пастора с такой быстротой, что бедняга был совершенно сбит с толку, Зависть не раз могла нанести ему смертельный удар. Своим спасением он был обязан только собственной неловкости, столь вопиющей, что противница, заподозрив ловушку, предпочла быть поосторожней и дожидаться более удобного случая. Таковой, естественно, не замедлил представиться, и Зависть уже заняла выгодную позицию для решающего удара сзади, как вдруг младшая из дочерей пастора, ум у которой был развит ничуть не хуже, чем грудь, воскликнула:

— Я прекраснее всех на свете!

Зависть немедленно повернулась к нам, и ее золотисто-зеленые глаза сверкнули из глубины шлема.

— Да, да, нет никого прекраснее меня! — упорствовала гордячка.

Метнув на девушку взгляд, исполненный самой мучительной зависти, тварь напрочь забыла о сражении, что дало пастору возможность отрубить ей голову. Из раны хлынула липкая желтоватая жидкость. Пока мы аплодировали победе пастора, наши сердца полнились жаждой соперничества. Теперь каждый из нас хотел бы сражаться на месте посланца Господа, но условия поединка не допускали этого.

— Следующий!

Скупость оказалась огромным горшком, к которому сверху была приделана голова хищной птицы со злыми бегающими глазками и подвижными ушами размером со сковороду. Шесть ее рук заканчивались длинными узкими ладонями с нервными, беспрестанно шевелившимися пальцами. На четырех коротких лапах были цепкие когти. Все в ней дышало жестокостью и подозрительностью — неизменными спутниками скупцов. Беспощадный, полный ненависти взгляд, конвульсивные подергивания ладоней и когтистых лап выдавали злобное нетерпение. При виде чудовища я сразу же вспомнил одно из высказываний профессора Мартена. Он считал, что скупость проистекает не из эгоизма, а из противоестественной страсти не допускать траты жизненных ресурсов. «Скупец — враг жизни, — говорил профессор. — Ненависть к ней толкает его на стяжательство, а страх, что жизнь отберет накопленное им, не дает угаснуть его вечной подозрительности». Именно эта подозрительность и бросалась в глаза. Помимо двух огромных ушей, о которых я уже упоминал, у Скупости была пара ушей поменьше, расположенных по обеим сторонам горшка, там, где полагалось находиться ручкам. Кроме того, у нее был лишний глаз в паху и еще один на спине.

Сражение едва успело начаться, как вдруг Скупость выкинула нечто совершенно неожиданное. Ее спинной глаз заметил золотого тельца, лежавшего на песке. Она галопом помчалась к нему со всей быстротой, на которую были способны ее коротенькие лапки, уселась на брюхо кумира, обняла его всеми шестью руками и принялась любовно поглаживать с блаженным урчанием. Опьяненная золотом, Скупость напрочь забыла об опасности. Пастор спокойно подошел к ней — она даже не заметила его приближения — и одним ударом меча разнес горшок вдребезги. Точно свинья-копилка, он был полон золотых монет, которые буквально засыпали тельца. При виде очередного подвига пастора нами овладела та благородная жажда предпринимательства, крайними и несколько извращенными проявлениями которой являются в разной мере страсть к завоеваниям и скупость. Битва возбуждала нас все больше и больше, и, чтобы умерить наше нетерпение, дьявол вынужден был напомнить, что мы все еще принадлежим царству мертвых.

— Следующий!

Появление на сцене Чревоугодия вызвало у нас немалое удивление. Мы ждали уродливое

чудище, а вместо него увидели респектабельного буржуа, прекрасно сложенного и почти элегантного, несмотря на объемистый живот, чересчур короткие руки и ноги и апоплексическую шею. Облаченный в хорошо сшитый фрак, с цветком в петлице и в слегка сдвинутом на затылок цилиндре, он производил впечатление некоторой манерности тяжелой походкой, движениями маленьких пухлых ладошек и даже поворотом головы; манерность эта, однако, не выходила за рамки приличий. У него были заплывшие глаза и жирные складки на шее, и все же черты его румяного лица сохраняли поразительную тонкость, особенно — небольшой, изящно очерченный нос и девический рот сердечком. Чем ближе он подходил к нам, тем более явной становилась мне его истинная сущность. При всей изысканности черт и кажущейся благожелательности выражение лица было жестким и хитрым. Маленькие утонувшие в жире глазки смотрели холодно и с неожиданной ясностью. В общем, Чревоугодие казалось не менее опасным противником, чем остальные чудища. Когда поединок начался, мы все испытали жгучую досаду от невозможности сражаться самим, а наиболее темпераментные участвовали в происходящем, подбадривая пастора криками и жестами.

— Так его, папаша! Сделай из этого борова котлету! — не удержался один из матросов. — Сделай из него котлету!

Услышав это, чудовище как будто заволновалось и бросило быстрый взгляд через плечо, в то время как зрители хором подхватили:

— Котлету, папаша! Сделай из него котлету!

— Котлету? Какую котлету? — спросило Чревоугодие, поворачиваясь к нам и тем самым подставляя себя противнику. — Тут что, есть еда?

Ответом ему был удар меча, который, пронзив ему бок, вышел из живота. Когда кровь вытекла, оказалось, что черный костюм, цилиндр и туфли-лодочки стали грязно-серыми: весь этот гардероб был создан природой из той же материи, что и само чудовище. Этот любопытный факт, несомненно, привлечет внимание ученых и позабавит юношество.

— Я чертовски голоден! — воскликнул капитан корабля.

— Следующий!

Гнев порастил нас прежде всего своим спокойствием. Огромные плечи и бедра придавали ему сходство с мощным и коренастым пещерным человеком. Тело его было покрыто густой шерстью, не уступавшей жесткостью половой щетке. Огромная голова походила на бульдожья, но высокий лоб и цвет лица были вполне человеческими. Гнев приближался медленно, с отсутствующим видом. Голова его была низко опущена. Мне кажется, он был всецело погружен в мысли об обидах и несправедливостях, клочкотание которых скрывал его высокий философический лоб.

Шаги его становились все короче; внезапно он замер, словно пораженный открывшейся ему ужасной истиной. Волосы у чудовища встали дыбом, как иглы оцетинившегося ежа, лицо посинело, отвислые губы сжались, выпученные глаза налились кровью. Гнев топал ногами, вздевая к небу крепко сжатые кулаки, а из его глотки вырывался захлебывающийся вопль:

— Господи! Господи Боже мой! Господи Боже мой, черт бы тебя побрал! Я хочу знать! Я хочу знать! Ну почему-у-у? Ну почему же, в конце концов?! Я хочу знать, почему, черт возьми! Я не согласен... Я имею право...

Его синюшное лицо стало прямо-таки черным; ярость буквально душила его. Гнев поднес руки к шее и простоял так несколько минут, задыхаясь и пытаясь прийти в себя. Мало-помалу его ежиные колючки опали, перекошенное судорогой лицо обрело прежний вид. Видя, что он успокоился, дьявол сунул ему в руку меч и объяснил, что он должен сразиться с посланцем Господа. Гнев обвел мутным взглядом четыре распростертых на песке трупов и ничего не сказал. Поединок он начал вяло, лишь отражая не представлявшие ни малейшей опасности удары

пастора, а на лбу его тем временем появлялись глубокие морщины — следы тяжелых раздумий. И так же неожиданно, как и в первый раз, он вдруг ощетинился, посинел, закатил налитые кровью глаза и рывкнул:

— Проклятие! Я хочу знать! Почему я? Почему моя жизнь должна служить платой за выкуп этих идиотских душ? Это несправедливо! Я хочу знать, черт возьми! И я узнаю! Я узна-а-а...

Чудовище опять задохнулось и поднесло руки к груди. Хотя в этот момент оно было абсолютно незащищено, пастор без зазрения совести воткнул свой меч противнику в живот — он ведь сражался за правое дело. Бурные рукоплескания были ему наградой. И все же в глубине души я ощутил смутную дрожь негодования, еще звериного по своей сути, но уже питаемого сомнениями и невысказанными вопросами, — примитивной формы того чувства справедливости, нравственные императивы которого, плохо ли, хорошо ли понятые, так легко сбивают с пути и людей, и братьев наших меньших.

— Следующий!

Теперь все взгляды были обращены к логову Лени, но наше терпение было вознаграждено лишь после очень долгого ожидания. Ее появление вызвало восторженный шепот. Нашему взору предстала огромная морская звезда. Каждый из семи ее нежно-розовых лучей был не меньше метра в длину. Один из них заканчивался изящной пухленькой ладонью, которая, казалось, наслаждалась ласками моря. В центре звезды мы увидели голову очаровательной юной девушки, обрамленную длинными струящимися золотистыми волосами. Чуть приоткрыв ротик и почти сомкнув веки, прикрывавшие большие черные глаза, она откинулась на подушку, словно вкушая приближение блаженного сна. Никогда еще грех не являлся на свет Божий столь привлекательным. Но вот, после небольшой передышки, лучи звезды вновь пришли в движение, Лень с томной грацией вступила на середину арены — и наш восторженный шепот сменился вздохом ужаса. Вокруг цветущего лица девушки, в колыпании ее светлых волос мы увидели кишаций клубок омерзительных тварей — змей, пауков, скорпионов, пиявок, навозных жуков и прочей нечисти. Время от времени из золотистых локонов высывалась голова какой-нибудь гадюки и нежно ласкала щеку хозяйки. В жизни мы не видели ничего более отвратительного. Пастор, которого вначале встревожила внешняя оболочка Лени, торжествующе повернулся к нам.

— Смотрите на нее! — воскликнул он. — Неустанно смотрите на нее! И никогда не забывайте, что вы видели, как самые отвратительные пороки клубятся на кружевной подушечке Лени!

— Сколько шума, — вздохнула Лень, — сколько суеты! Закончим поскорее.

С самого начала бой оказался неравным. Чтобы дотянуться до своего врага, пастор вынужден был все время сгибаться в три погибели. Единственное по-настоящему уязвимое место Лени — голова — была слишком мала для того, чтобы противник мог наносить точные удары. Лень защищалась беспечно, но весьма искусно и, не переходя в атаку, поддразнивала пастора концом своего меча в ожидании, что тот сам на него напорется, что неизбежно и произошло бы, но младшая из дочерей пастора, осознав опасность, грозящую отцу, решила спеть колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». При первых звуках песенки Лень принялась качать головой, вызвав тем самым сильное волнение среди гадюк; потом веки ее отяжелели, лучи приподнялись и сомкнулись, образовав над дремлющей головой нечто вроде венчика. Пастор разрубил их и, обезглавив спящую, изничтожил копошившуюся в крови нечисть. Впервые со дня нашего прибытия в ад мы начали зевать, думать о сне и о пользе продолжительных медитаций.

— Следующий! — позвал дьявол унылым голосом, скорчив недовольную гримасу: в этом фейерверке побед ему ясно виделась рука Провидения, что, с его точки зрения, означало



глубейшую подтасовку результатов поединка.

Сладострастие явилось нам в виде тощего нагого старика в бежевом котелке. Взгляд его блестящих черных глубоко посаженных глаз, казалось, был обращен внутрь себя; на изможденном лице лежала печать тревоги. В правом ухе у старика было закреплено что-то вроде небольшой рукоятки, назначение которой показалось нам сперва весьма загадочным. Низ живота был защищен решеткой из толстых черных костей. Что касается органов, закрытых этой решеткой, то было решительно невозможно разглядеть, принадлежат ли они мужскому или женскому полу и есть ли они вообще. Верх решетки был привязан к полям котелка тремя тросиками, привлекшими наше внимание своим ярко-красным цветом. Выйдя из пещеры и сделав несколько шагов, старик остановился и, взявшись за торчавшую из уха рукоятку, принялся с усилием поворачивать ее. Раздался скрип, весьма напоминавший тот, который издают изрядно проржавленные дверные петли. После первого оборота на полях котелка появились маленькие, размером с ладонь, живые фигурки. Сначала это были три женщины — одна обнаженная, другая в дорожном платье, а третья в пижаме. Съехав по тросикам вниз до самой решетки, они скрылись за ней. За ними последовали сначала другие фигурки, самого разного возраста и в самой разной одежде, а потом, по отдельности, бедра, зады, груди и гениталии обоего пола. Шествие продолжалось ужасно долго; когда оно закончилось, Сладострастие, совершенно измученное, отпустило рукоятку и некоторое время собиралось с силами. Наконец оно подняло голову, окинуло взглядом нашу группу и явно заинтересовалось наготой трех дочерей и супруги пастора. Когда старик вновь привел рукоятку в движение, мы с изумлением увидели, как на полях котелка появились великолепно выполненные миниатюрные копии матери и трех девушек; через мгновение они заскользили по тросикам вниз. Пастор не смог этого вынести и с возмущением закричал, чем привлек к себе внимание.

Сладострастие несколько секунд с любопытством рассматривало его, потом еще раз повернуло рукоятку, и несчастный пастор был подвергнут настоящей пытке. Он увидел себя самого, спускающегося вниз головой по тросу, настигающего свою собственную жену и кусающего ее за ягодицы в тот момент, когда она влезала во вместилище непристойностей. Неудивительно, что пастор ринулся в битву с яростным пылом, проявив при этом, однако, ничуть не больше ловкости, чем во всех предыдущих сражениях. Поэтому, хотя мы и не сомневались, на чьей стороне Бог, исход боя вызывал у нас опасения. Каким бы старым и исхудалым ни выглядело Сладострастие, поединок оно вело с исключительным воодушевлением и хладнокровием. Но вот, будучи вынужден совершить нелепый прыжок в сторону, пастор открыл взору противника лежавший позади него труп Лени. Заметив только что отрубленную голову девушки, Сладострастие издало звук, напоминавший отрывистый лай, и, бросив меч, схватилось за рукоятку. Точная копия отрубленной головы, уменьшенная до размеров апельсина, покатила вниз, но до клетки добраться не успела — пастор как раз прикончил последнего из своих противников. Тотчас же, словно в день первородного греха, его жена и дочери осознали свою наготу и густо покраснели. Отставной капрал, украдкой посматривавший на них, был так смущен, что это заметили все окружающие.

Когда преисподняя извергла свою добычу, каждый из нас вернулся к привычной деятельности. Профессор Людовик Мартен вновь оказался в кругу своих учеников на бретонском пляже, который мы с ним покинули за неделю до того. В один прекрасный день он рассказал им о том, о чем я только что рассказал вам.

— Порвите мой трактат о профилактике души, — сказал он в заключение. — Если вы хотите уберечься от пагубных искушений, не избегайте греха, а приучайте себя к нему. Не будьте по-дурацки скромны, не пренебрегайте хорошим ужином, не чуждайтесь женщин. Ну и так далее.



# Злая кокетка и школяр

Злая кокетка жила в маленькой, скромно обставленной двухкомнатной квартирке на улице Коленкура. Продав лишь сотую часть своих драгоценностей, Ева Гробюро могла бы приобрести, к примеру, самый шикарный особняк на авеню Добуа, однако, будучи не просто красавицей, но к тому же и умницей, она предпочитала не привлекать к себе внимания вызывающей роскошью. Дело в том, что она боялась вездесущего налогового управления, а пуще всего — налоговых инспекторов, которые следуют по пятам за обладательницами норковых шуб и «кадиллаков» и в итоге выясняют всю подноготную спекулянтов, скупщиков золота, взяточников и валютчиков. Ева была современной роковой женщиной. Она никогда не появлялась в великосветских салонах, барах, на посольских приемах и модных пляжах. Начав свою многотрудную карьеру при немецкой оккупации и опустошив кубышки провинциальных барышников, она поняла, что крупные капиталы и живительные силы нации кроются ныне отнюдь не под резьбой и позолотой, а в мелких лавчонках и тесных квартирках окнами во двор — там, где государству о них не пронюхать. Она бы только насмешливо и снисходительно улыбнулась, предложи ей кто-нибудь блистать на благотворительном балу или Корниловских вечерах. Ей вполне хватало пеших прогулок, во время которых она демонстрировала всему кварталу умопомрачительные ножки и бюст, томную меланхолию и пристальный, неуловимо порочный взгляд прекрасных глаз. Вокруг Евы вечно увивались мелкие лавочники, чинуши, отцы семейств и служащие газовых компаний, начинавшие в зависимости от темперамента либо дрожать от страсти, либо изнывать от неясного предчувствия. Но среди этого роя воздыхателей попадались и крупные подпольные дельцы, оборванцы-толстосумы, заурядные с виду людишки, набивающие свои тюфяки купюрами и прибедняющиеся владельцы пяти-шести сотен миллионов. Известная скромность Евиного образа жизни внушала доверие и дерзновенные помыслы. Время от времени то торговец углем, то отставной капитан колониальных войск, то бедный адвокат без практики пускал себе пулю в лоб и при этом, как ни странно, не оставлял наследникам ни гроша.

Однажды, когда злая кокетка собиралась пойти позавтракать в ближайшее кафе, к ней на квартиру заявился круглощекий и красный как рак помощник мясника. Вместо фартука на нем был выходной костюм.

— Господин Докасс посылает вам кусок вырезки, — выпалил он с ходу, тихонько добавив: — И вот тут еще розы...

Мясо преподносит в дар хозяин, а цветы — помощник, догадалась Ева Гробюро. Вообще-то мясники интересовали ее лишь постольку-поскольку. По сравнению со знаменитыми спекулянтами и махинаторами, имевшими в год десятка полтора миллионов, они выглядели бледновато. Зато мальчишка ее заинтересовал куда больше: ей вдруг подумалось, что за последние три с лишним месяца она не довела до самоубийства ни одного юношу моложе двадцати пяти, а ведь путь настоящей роковой женщины должен быть усеян трупами мужчин всех возрастов. Она проводила молодого человека в комнату и усадила на диван.

— Сейчас только цветы в воду поставлю, и можете располагать мною.

Последние слова она произнесла с такой хрипотцой и придыханием и смотрела при этом так призывно, что помощнику мясника едва не сделалось дурно. Воротясь же с кухни, Ева повела себя совсем иначе и, усевшись рядом с юношей, равнодушно и рассеянно, как бы из вежливости, стала расспрашивать его о жите-бытье. То была прелюдия дьявольской игры, за двое суток лишавшей жертву последней надежды. Смущаясь и запинаясь, помощник мясника начал свой рассказ.

Адриан вырос на востоке страны в семье сельского учителя, окончил Высшую Нормальную школу. Подобно многим выпускникам, не сумевшим найти приложения своим глубоким познаниям на государственной службе кроме как на нищенских условиях, он подался в другую область. Поставив крест на столь никчемных в наше время свободных профессиях, он избрал иное поприще — поступил помощником к мяснику.

— Я, видите ли, мозгами-то пораскинул (он все еще пользовался заученными в университете просторечными оборотами) и решил, что в лавке-то мне как пить дать обеспечен кусочек мяса на обед и ужин. А там, глядишь, женюсь на хозяйской дочке. Да только надобно признаться, что с тех пор, как я увидел вас, мамзель Гробюро, мне уж не до нее.

А Еву между тем как будто подменили. На щеках роковой женщины заиграл румянец, еще недавно порочные глаза вспыхнули огоньком неподдельного чувства... словом, она влюбилась в Адриана без памяти. Как правило, у всех прирожденных завоевателей, коих природа щедро одарила самыми редкими талантами, есть слабое место. В восемнадцать лет Ева мечтала стать секретарем-делопроизводителем в каком-нибудь министерстве и, лишь шесть раз подряд срезавшись на экзамене на степень бакалавра, сдалась и пошла по стезе секс-бомбы. После стольких разочарований и шести неудачных заходов она сохранила тайное благоговение перед умственными изысками и университетскими дипломами.

Бросившись Адриану на шею, Ева призналась ему в любви, а затем со вздохом промолвила: — Ах, ну расскажите, расскажите же мне о греках и латинянах! Давайте говорить о поэзии, о философии!

Адриан преподнес ей целый букет цитат из Гомера, Софокла, Вергилия, Сенеки, потом лихорадочно изложил вкратце основные положения «Критики чистого разума». От такого великолепия сердце закоренелой злой кокетки млело и распускалось, подобно очарованному ночными грезами цветку под первыми лучами зари. Вместе они просклоняли существительные «gosa» и «dominus». Ablativus был напоследок скреплен долгим поцелуем.

— Милый Адриан, я должна кой в чем повиниться перед вами, — прошептала Ева. — Дело в том, что... о Боже! Я очень дурная женщина!

Помощник мясника побледнел как полотно.

— Все равно я люблю вас, — отвечал он. — Но расскажите мне обо всем без утайки.

И тогда она поведала ему о провалах на экзамене, о первых деревенских опытах, об обобранных до нитки барышниках, о состояниях, насильно вырванных у гнусных скряг, о пущенных в лоб пулях, о спешно переведенных на родину заграничных капиталах, о роскошных украшениях, которые она ни разу не соизволила надеть... и повсюду ее путь был отмечен горами трупов, слезами вдов и сирот. Во время этой горькой исповеди Ева сама проливали горячие слезы раскаяния и уныния.

Адриан был потрясен, но, сознавая, что отныне лишь от него зависит, вступит ли эта несчастная на стезю добродетели, не стал уклоняться от ответственности и, оставив простонародный стиль, которым намеревался покорить утонченную собеседницу, заговорил серьезно, по-мужски:

— Прежде всего нужно окончательно порвать с прошлым. Если вы хотите, чтобы мы поженились, то это мое всенепременнейшее условие. (Тут опять всплыли его школярские привычки.) Затем — прекратить всякие сношения с мужчинами, которых вы толкнули на путь гибели. И избавиться от несправедно нажитого капитала.

— Я попытаюсь возместить ущерб семьям погибших, а остаток пушу на благотворительные цели. Но на что же мы будем жить, когда поженимся, любимый?

— Об этом не тревожьтесь. Как помощнику мясника мне полагается жалованье и бесплатное питание, ну а для вас-то я всегда сумею потихоньку раздобыть отбивную. К тому же

я нет-нет да и приторговываю налево за спиной у хозяина.

— А я могла бы обратиться к моим давнишним знакомым из провинции. Достать у них честь по чести масло по сходной цене и перепродать его в Париже по тысяче двести франков за кило.

— И не пройдет и двух лет, как у нас будет собственная мясная лавка! — радостно воскликнул выпускник Высшей Нормальной школы.

Казалось, прошлое померкло и впереди маячило прочное, тихое счастье. В пылу беседы жених с невестой поднялись с дивана и подошли к окну. Внезапно Ева вздрогнула, прекрасные глаза ее расширились от ужаса. Перед домом на тротуаре, устремив взгляд на ее балкон, стоял скромно одетый человек. Правую руку он держал в кармане пиджака.

— Скорее, Адриан, он хочет застрелиться! Бегите вниз и скажите ему, что я отдам все до последнего су!

Помощник мясника бросился в прихожую и кубарем скатился по лестнице. От волнения у Евы подкосились ноги; вцепившись в занавеску, она со страхом следила за движениями бедолаги. А ведь еще вчера мысль о том, что причиной его самоубийства является именно она, несказанно ее бы обрадовала. Мужчина медленно вынул руку из кармана. Блеснула сталь револьвера. Страхнувшее злые чары бедное сердечко Евы бешено заколотилось. Мужчина медленно поднял револьвер, затем так же медленно повернул ствол и прижал его к виску. В эту секунду у Евы все оборвалось внутри. К счастью, самоубийца оказался левшой, но в замешательстве позабыл об этом, а опомнился лишь тогда, когда приспело время спустить курок. Пока он переключал оружие из одной руки в другую, Адриан успел перебежать улицу и выхватить у него револьвер, который тотчас же был выброшен в колодезь водостока.

В тот день Еве так и не пришлось пообедать: не теряя времени даром, она побежала на бульвар Клиши разыскивать ярмарочного циркача — укротителя львов по имени Юлий, каковой воспылал к ней такую неистовой страстью, что согласился отдаться на растерзание своим питомцам как раз на сегодняшнем вечернем представлении.

В старом костюме и шлепанцах Юлий нервно прохаживался около своего фургончика. Из-за любовных треволнений он за неделю похудел на семь с лишним кило; его изможденные черты покрывала смертельная бледность.

— Юлий, — обратилась к нему Ева, — откажитесь от вашего чудовищного плана.

— Ни в коем случае, — отвечал укротитель. — Что может быть слаще, чем погибнуть у вас на глазах от когтей хищников?

— Не будьте эгоистом, Юлий! Подумайте, что станет с вашей женой, детишками и безутешными осиротевшими львами. Бросьте эту затею.

— Не могу. Роковой номер продуман вплоть до мельчайших подробностей. Шаг в мир иной уже сделан, да и вообще...

Тут он осекся, прислушался и прошептал Еве на ухо: «Это жена! Нам нужно расстаться. Встретимся на площади около карусели». Из фургончика донесся резкий окрик, и, поспешив прочь, Ева мельком увидела появившуюся на пороге угрюмого вида тощую низкорослую бабенку, которая грозно огляделась вокруг и проворчала: «Ну где эта скотина? Сказано же ему было не уходить далеко».

Встретившись на площади Бланш, Ева и Юлий зашли в кафе, сели за столик и продолжили беседу. Прошло минут пятнадцать, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Тщетно молила Ева — укротитель упорствовал в своем желании свести счеты с жизнью.

— Открою вам всю правду, Юлий: я скоро выхожу замуж за высоконравственного и образованного молодого человека, однако всенепременнейшим условием нашего брака он поставил мое безупречное поведение. Неужели вы хотите, чтобы грязное прошлое запятнало

чистую страницу моей новой жизни? Вдумайтесь, ведь мое спасение в ваших руках. Ваше самоубийство из ревности опять ввергнет меня в бездну!

Укротитель согласился, что, мол, это действительно досадно, но тут он бессилен. Его смертный час уже пробил. Видя такую нестигаемую волю, Ева в отчаянии ломала руки под мраморным столиком.

— Ну что ж, — произнесла она наконец, — ничего не остается, как обратиться к вашей супруге. Может, она сумеет мне помочь.

При мысли о том, что благоверная уличит его в любовных утехах на стороне и закатит скандал, Юлий струхнул и сдался. Он не только поклялся честью не покушаться более на свою жизнь, но еще и дал слово (опять же честное) ежедневно принимать по две таблетки глюконата кальция, дабы наверстать семь килограммов, утраченных за истекшую страстную неделю.

В прекрасном расположении духа, которое сопутствует человеку с чистой совестью (и с нечистой, по правде говоря, иногда тоже, но в данном случае совесть девушки была чиста), Ева шла по улице Лепик, как вдруг в шагавшем чуть впереди прохожем со спины признала того бедного и несчастного юношу, который не далее как накануне бросился перед ней на колени прямо посреди мокрой мостовой. Он признался ей в любви, но вместо ответа злая кокетка одарила его своим неопишуемым взором и таинственной улыбкой, вскружившими не одну мужскую голову. Что за райское блаженство испытала она, когда бедный мальчик, явно не в себе, с помутившимся взглядом, воскликнул:

— Пускай я всего лишь продавец универмага «Самаритянка», но не пройдет и двух дней, как я положу к вашим ногам целое состояние!

И вот теперь Ева в смертельной тревоге вглядывалась в спину своего поклонника. Отчего это в три часа пополудни он не на службе? Если он не пошел на работу, то, видно, задумал что-то недоброе, может, даже преступление. Она с содроганием представила себе убийство, навеки погубленную душу горемычного продавца «Самаритянки», позор, павший на его добрую, работающую семью — хворую мать и жандарма-отца, который вряд ли переживет сыновье бесчестье.

Немного не дойдя до конца улицы Лепик, юноша остановился перед художественным салоном Санду, бросил взгляд на выставленные в витрине полотна и вошел внутрь. Прошло пять минут, а он все не появлялся, и тогда Ева последовала за ним. В салоне никого не было; молодой человек, казалось, внимательно рассматривал одну из развешанных по стенам картин.

— Я не ожидал вас встретить, — пробормотал он, пытаясь скрыть смятение улыбкой. — Вы любите живопись? Тогда скажите мне, что вам здесь больше всего нравится, и забирайте это себе, а с хозяином я все улажу.

А сам так и ел глазами женщину своей мечты, притом с таким наивным аппетитом, что невольно облизывался, как будто действительно проглотил лакомый кусочек.

— Есть ли у вас мать? — спросила Ева.

— Есть.

— Она хворает?

— Увы, это так, — признался продавец «Самаритянки» и повесил голову.

— И отец тоже есть?

— Да.

— Он ведь жандарм, не правда ли?

— Правда... — прошептал юноша, и по щеке его скатилась крупная слеза.

Итак, интуиция честной и сострадательной женщины не подвела Еву. Мать таки хворала, а отец таки служил жандармом! Сын же, несмотря на чувственную натуру, похоже, был мальчиком послушным. Держа молодого человека за руку, Ева принялась мягко внушать ему,

как больно ранит дитя своими ошибками материнское сердце, не говоря уже о сердце жандарма, уязвленном стыдом и позором.

— Я не такая, как вы обо мне думаете. Я скоро выхожу замуж и тоже стану матерью, а отцом моих детей тоже будет честный человек, хоть и не жандарм.

Нет, вовсе не напрасно звать к благородным чувствам грешника, не до конца закосневшего во грехе. И юный продавец универмага разразился бурными рыданиями. Вытащив из кармана револьвер, он отбросил его далеко прочь, затем слегка приподнял правую штанину и извлек из-под нее несколько искусно припрятанных, свернутых в трубочку полотен. Но Ева на этом не успокоилась:

— Скажите, а где хозяин салона?

Юноша зарыдал еще пуще и указал пальцем на бархатную занавеску в глубине зала. В предчувствии непоправимого Ева направилась напрямик туда, дрожащей рукой отдернула занавеску... Перед ней на полу лежал связанный по рукам и ногам владелец художественного салона Санду г-н Декост с кляпом во рту. Освобожденный от пут, он нисколько не рассердился, ибо больше всего на свете обожал приключения и, пожалуй, даже расстроился, что все кончилось так быстро. Иначе говоря, дело обошлось вполне благополучно.

И так в течение целой недели Ева бдительно следила за всеми мужчинами, в свое время попавшими под власть ее некогда порочных глаз, и особенно за теми, кто в поисках ее расположения пустился во все тяжкие. Она без устали прочесывала улицы и закоулки, наводя справки у консьержек и официантов; тут — в последнюю секунду вынимала из петли самоубийцу, там — брала честное слово исправиться со спившегося с горя воздыхателя или останавливала на грани преступления отца семейства, доведенного до крайности всепожирающей незаконной страстью. Ее прекрасный светлый взор, отныне излучавший раскаяние и сострадание, утолял печали мужей, гасил в их глазах дикий огонь вождения. Спасены были все. К вечеру, измученная, но счастливая, Ева возвращалась в свою квартирку на улице Коленкура, куда приходил разделить ее трапезу Адриан. После ужина они вместе занимались латынью и геометрией, и часов в десять помощник мясника уходил восвояси. Однажды, уже на пороге, Ева робко ему шепнула:

— Я должна кое-что сказать вам, Адриан, но боюсь, что вы, человек столь высокообразованный, поднимите меня на смех. Ну да ладно! Представьте себе, вот уже несколько дней я постоянно думаю о Боге и ангелах. Мне хочется молиться.

— Мне тоже, — ответил выпускник Высшей Нормальной школы (сын учителя-радикала).

С тех пор при каждой встрече они взяли за правило читать хором коротенькую молитву. А между тем приближался назначенный час бракосочетания. В ожидании этого дня каждый из всех сил старался обеспечить будущей семье беспечальное существование. У Адриана дела шли неплохо — он был на хорошем счету у хозяина и умел ладить с покупателями. А Ева, вознаградив свои жертвы и одарив вдов и сирот, трудилась вдвойне: передавала остаток денег на разные благотворительные нужды, за бесценок скупала по деревням масло и перепродавала его на черном рынке.

Недели через две она анонимно пожертвовала на богоугодные дела весьма кругленькую сумму. Так был положен конец кошмарному прошлому, и душа вчерашней роковой женщины обрела непорочность отроковицы. Однако инспектор Главного управления экономического и налогового надзора заинтересовался манной небесной, обрушившейся на благотворительные фонды; решив выяснить, в чем тут дело, он докопался-таки до ее происхождения. Однажды вечером, когда едва начинало смеркаться и Ева вышла из одного дома по улице Сен-Винсен, где только что пристроила пять кило масла, с ней заговорил какой-то неизвестный. Это и был инспектор Главного управления экономического и налогового надзора. Представившись по всей

форме, он резко сказал:

— Вы пожертвовали беднякам фантастические суммы. Придется вам объяснить, откуда взялось ваше состояние, и уплатить налоговым органам накопившуюся задолженность, не говоря уже о штрафах — а они будут громадными.

— Но как же я буду платить? У меня ничего больше не осталось.

— Ну что ж! В таком случае сядете в тюрьму. Впрочем...

Он не стал продолжать, но по загоревшимся глазкам и смачно-плотоядному причмокиванию Ева безошибочно догадалась об остальном. Инспектор-то оказался тем еще потаскуном. Мысленно помолвившись, Ева взяла его под руку и увлекла за собой вверх по ступенькам улицы Мон-Дени. Развратник было решил, что дело в шляпе, но, когда девушка привела его в маленькую церквушку Св. Петра, слегка забеспокоился.

— Станьте здесь и не двигайтесь, — тихо приказала Ева инспектору, указав на нишу в стене.

Очередная прихожанка вышла из исповедальни, и ее место заняла Ева. С туговатым на ухо священником приходилось говорить громко и внятно, поэтому притаившийся в нише инспектор услышал каждое слово вышеизложенной истории и в умилении на цыпочках удалился прочь, не забыв при выходе из храма сунуть в кружку для пожертвований десятифранковую купюру.

Сегодня Адриан с Евой муж и жена. На будущий год работающие и рачительные супруги намереваются открыть собственную мясную лавку. Пока же Ева под руководством помощника мясника готовится к экзамену на степень бакалавра. Вот будет здорово, если она его выдержит!

*Перевод А. Куличковой*



Триста лет назад в стране Ооклан жила семья художников Ольгерсонов, писавшая одни шедевры. Все Ольгерсоны были знаменитыми, уважаемыми мастерами, и слава их не распространялась за пределы родины лишь потому, что Оокланское королевство, затерянное далеко на севере, не имело связей ни с одной страной. Оокланцы выходили в море только рыбачить и охотиться, а корабли смельчаков, пытавшихся найти путь на юг, разбивались о рифы.

У старого Ольгерсона, первого в роду художника, было одиннадцать дочерей и семь сыновей, имевших недюжинные способности к живописи. Восемнадцать Ольгерсонов сделали прекрасную карьеру, добились стипендий, признания публики, наград, но детьми не обзавелись. Видя, что вопреки всем заботам род его угасает, уязвленный старик в восемьдесят пять лет взял в жены дочь охотника на медведей, и вскоре она произвела на свет сына по имени Ганс. И тогда старый Ольгерсон спокойно умер.

Обучившись живописи у своих восемнадцати братьев и сестер, Ганс стал великолепным пейзажистом. Он писал ели, березы, луга, снежные равнины, озера, водопады, и на холсте они получались воистину такими, какими их сотворил Господь. Когда зрители глядели на зимние ландшафты Ганса, у них мерзли ноги. Однажды пейзаж с елью показали медвежонку, и он тут же попытался взобраться на дерево.

Ганс Ольгерсон женился, и у него родились два сына. Старший, Эрик, был начисто лишен художественного дара. Его манили лишь охота на медведей, тюленей, китов да мореплавание. Это приводило в отчаяние всю семью, особенно отца, и он обзывал Эрика «тараканом» и «моржовой башкой». Зато Оскар, годом младше брата, уже в раннем возрасте обнаружил яркий талант живописца, несравненную твердость руки и чувствительность. В двенадцать лет он писал пейзажи, которым мог бы позавидовать любой из Ольгерсонов. Ели и березы Оскара напоминали живые деревья еще больше, чем отцовские, и уже тогда за полотна мальчика платили бешеные деньги.

Вопреки несходству своих пристрастий братья нежно любили друг друга. Если Эрик не рыбачил и не охотился, то сидел у Оскара в мастерской, а тот лишь с ним и бывал по-настоящему счастлив. И радость и горе они делили пополам.

К восемнадцати годам Эрик стал хорошим моряком, его брали на промысел опытейшие рыбаки. Он мечтал найти проход между рифами, чтобы открыть путь в южные моря. Эрик часто говорил об этом с Оскаром, но юноша, любя старшего брата, преисполнялся тревоги при одной мысли об опасностях, которые сулило это путешествие. Самому Оскару едва исполнилось семнадцать, а его уже считали непревзойденным мастером. Отец с гордостью заявлял, что сына больше нечему учить. Но юный мастер ни с того ни с сего вдруг охладил к живописи. Он забыл о своих великолепных пейзажах, делал какие-то наброски на отдельных листках и тут же рвал их. Узнав о такой странности, Ольгерсоны — их к тому времени осталось пятнадцать — немедленно собрались на совет. От имени славного семейства отец спросил Оскара:

— Милый мой сын, разве вам опостылела живопись?

— О нет, отец, я люблю ее больше прежнего.

— Что ж, прекрасно. А может, этот оболтус Эрик отвлекает вас от работы? Как я сразу не догадался!

Оскара возмутило подобное подозрение, и он возразил, что лучше всего работает именно в присутствии брата.

— Так в чем же дело? Наверное, вы влюбились?

— Простите меня, отец, — сказал Оскар, потупив взор. — Простите и вы, тети, и вы, дяди, но все мы здесь — люди искусства. Поэтому отвечу честно — я встречал много женщин, но ни одна не сумела меня удержать.

Все пятнадцать Ольгерсонов громко расхохотались и принялись отпускать на этот счет весьма вольные шутки, как было принято у оокланских художников.

— Вернемся к делу, — прервал родственников Ганс. — Не таитесь, Оскар. Поведайте нам, отчего вы потеряли покой. Если у вас есть какое-нибудь заветное желание, скажите прямо.

— Хорошо, отец. Позвольте мне перебраться на год в ваш дом в Р'ханских горах. Я хотел бы там пожить в уединении. Думаю, что мне удастся хорошо поработать, особенно если вы отпустите брата со мной в эту глушь.

Отец охотно дал согласие, и на следующий же день Оскар и Эрик по санному пути уехали в Р'ханские горы. Мелькали дни, Ольгерсоны часто вспоминали отшельников, главным образом — Оскара. «Вот увидите, — говорил отец, — увидите, какие чудесные картины он привезет. Я уверен, мальчик что-то задумал». Ровно через год, день в день, Ганс сам отправился в Р'ханские горы и неделю спустя прибыл к сыновьям. Оскар и Эрик издали увидели отца и, как полагалось, встретили его на крыльце: один держал подбитый волчьим мехом халат, другой — блюдо дымящегося жаркого из легких нерпы. Но отец едва притронулся к угощению — ему не терпелось насладиться пейзажами Оскара.

Войдя в мастерскую, Ганс онемел от ужаса. На всех холстах были намалеваны какие-то нелепые, уродливые предметы — судя по зеленой окраске, вероятно, растения. Одни уродцы состояли из огромных лопухов, похожих на медвежьи уши, зеленых и утыканных колючками. Другие напоминали свечи и подсвечники с многочисленными рожками. Меньший ужас, несмотря на всю свою абсурдность, вызывали только непомерно высокие чешуйчатые свечи с двухаршинными пучками листьев на макушке.

— Что это за мерзость? — рявкнул Ганс.

— Это деревья, отец, — отвечал Оскар.

— Что-о? Вот это — деревья?

— По правде говоря, я боялся показывать вам свои картины и понимаю, что вы слегка удивлены. Но такой я вижу теперь природу, и ни вы, ни я ничего не можем с этим поделать.

— Ну, мы еще посмотрим! Значит, вы удалились в горы, чтобы предаваться подобному извращению природы? Извольте-ка немедленно возвратиться домой. А с вами, Эрик, будет особый разговор!

Через неделю отец с сыновьями приехали в город. Все пятнадцать Ольгерсонов были приглашены познакомиться с новыми работами Оскара. Двое тут же скончались от испуга, остальные высказались за принятие самых строгих мер. Полагая, что вкус младшему брату испортил Эрик, Ольгерсоны решили: он должен на два года покинуть страну. Молодой моряк снарядил в плавание корабль, собираясь пройти между рифами в теплые моря.

На причале Эрик нежно обнял плачущего брата и простился с ним, тоже утирая слезы:

— Мы расстаемся, быть может, на долгие годы. Не теряйте надежды — я непременно к вам вернусь.

А Оскара Ольгерсоны посадили в мастерской под замок — пока он снова не станет писать как полагается. Юноша безропотно подчинился решению семьи, но первый его пейзаж, написанный в заточении, изображал куст тех же медвежьих ушей, а второй — вереницу подсвечников на фоне песков. Разумное видение природы не возвращалось к Оскару — напротив, он с каждым днем все больше углублялся в дебри абсурда, и болезнь эта не поддавалась лечению.

— Да поймите же, — сказал ему однажды отец, — ваши картины посягают на самое суть

искусства! Художник не имеет права писать то, чего не видит.

— Но если бы Бог создавал лишь то, что видел, он ничего бы не создал! — ответил Оскар.

— Ах, вы еще и философствуете! Наглец! Подумать только, ведь у вас перед глазами были одни хорошие примеры! Скажите по совести, Оскар, когда вы видите, как я пишу березу, ель... Словом, что вы думаете о моих картинах?

— Простите меня, отец...

— Прошу вас, отвечайте откровенно.

— Ну, если откровенно, я бы просто швырнул их в печь.

Ганс Ольгерсон молча проглотил оскорбление, но через несколько дней под предлогом того, что сын расходует слишком много дров, выгнал его из дому. На последние деньги Оскар снял в порту лачугу и поселился там, прихватив с собой лишь ящик с красками. Так начались его мытарства. Чтобы заработать на хлеб, он разгружал суда, а в свободное время продолжал писать композиции из медвежьих ушей, подсвечники и перьевые метелки. Его живопись и так не пользовалась спросом, а тут еще стала предметом всеобщих насмешек. Абсурдные холсты были притчей во языцех. Годы шли, и чем дальше, тем хуже жилось Оскару. Его прозвали Оскаром-дурачком. Дети плевали ему вслед, старики бросали в него камни, а портовые шлюхи, завидев его, крестились.

Как-то раз — это случилось четырнадцатого июля — в порту и в городе разнеслись невероятные слухи. Смотритель маяка заметил вдали легкий, стройный корабль с позолоченным бушпритом, идущий под пурпурными парусами. В Ооклане еще не видывали таких чудес. Сам бургомистр со своими советниками отправился встречать заморское судно и с удивлением узнал, что оно принадлежит Эрику: моряк вернулся на родину из кругосветного путешествия, длившегося десять лет. Услышав эту новость, Ольгерсоны протолкались к причалу сквозь толпу. Эрик в голубых атласных панталонах, шитом золотом сюртуке и в треуголке сошел на берег. Ганс поспешил было обнять его.

— Я не вижу здесь брата, — отстранил отца Эрик, хмурия брови. — Где Оскар?

— Не знаю, — покраснев, ответил отец. — Мы в ссоре.

И тут из толпы с трудом выбрался тощий оборванец.

— Эрик, я ваш брат Оскар, — сказал он.

Моряк заплакал и обнял его, а потом, разжав объятия, грозно повернулся к Ольгерсонам:

— Это вы, старые хрычи, виноваты в том, что мой брат чуть не умер от голода и нищеты.

— Порядок есть порядок, — ответили Ольгерсоны. — Надо было рисовать как следует. Его обучили почтенному ремеслу, а он упрямо малевал пейзажи один другого абсурдней и смехотворней.

— Молчите, вы, старые хрычи, и знайте, что Оскар — величайший в мире художник.

Старые хрычи злорадно ухмыльнулись. А Эрик приказал матросам:

— Несите сюда кактусы, финиковые пальмы, равеналы<sup>[3]</sup>, аллюодии<sup>[4]</sup>, банановые деревья, пеллициеры!<sup>[5]</sup>

И к изумлению толпы, матросы вынесли на причал ящики с растениями, как две капли воды похожими на уродцев с полотен Оскара. Старые хрычи вытаращили глаза и заплакали от бешенства и досады. Тут все оокланцы упали на колени, прося у Оскара прощения за то, что дразнили его дурачком. Отношение к живописи Ольгерсонов разом переменялось. Эстеты теперь ничего не желали видеть, кроме кактусов и других экзотических растений. Оскар и Эрик построили себе великолепный дом и зажили в нем вместе. Оба брата женились, но это не мешало им по-прежнему нежно любить друг друга. И Оскар рисовал всё чудные да пречудные растения, никому еще не известные, а может, и вовсе не существующие на свете.

**notes**



Ненормальный какой-то (*нем.*). (*Здесь и далее примеч. переводчиков.*)

«Четырнадцать пунктов» — программа мира, предложенная В. Вильсоном в январе 1918 г.

Равенала — растение семейства стрелитцевых, близкородственного банановым; его родина — остров Мадагаскар.



Аллюодия — растение семейства дидиереевых, по виду напоминает молочай или кактус; встречается на Мадагаскаре.

Пеллициера — растение, родственное мангровому дереву, принадлежит к семейству чайных; растет в тропических лесах Азии и Америки.